

Библиотека Всемирной Литературы



ЖАН-ЖАК РУССО

Исповедь



# Жан-Жак Руссо

## Исповедь

*Издательский текст*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2377375](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2377375)  
*Исповедь: Эксмо; М.; 2011*  
*ISBN 978-5-699-50361-2*

### **Аннотация**

Жан-Жак Руссо (1712–1778) – выдающийся мыслитель и писатель эпохи Просвещения. «Исповедь» Руссо до сих пор не перестает привлекать читателей. Внутренняя свобода автора по отношению к условностям его времени определила ту глубину и точность самооценки, с которой написана эта книга. Описывая события и свои переживания, Руссо обнажает «всю правду своей природы», включая и «самые интимные и грязные лабиринты». Эта неповторимая книга вызывает глубокий интерес не только своим автобиографическим материалом, но и смелым, тонким самоанализом.

## Содержание

Предисловие[1]	4
Часть первая	7
Книга первая	7
Книга вторая	30
Книга третья	55
Книга четвертая	80
Конец ознакомительного фрагмента.	100

# Жан-Жак Руссо

## Исповедь

### Предисловие<sup>1</sup>

Над «Исповедью» Руссо трудился в период между 1765 и 1770 г. История зарождения этой книги и процесс ее создания освещены в многочисленных исследованиях (см. труд Hermine de Saussure, *Rousseau et ses manuscrits des Confessions*, P. 1958; комментарии и статьи к изд. *Les Confessions, texte établi et annoté par Pierre Grosclaude*, Les éditions nationales, P. 1947). Размышления о причудливой судьбе, возвысившей его из состояния никому не известного бедняка до вершин мировой славы, противопоставление своего образа мыслей не только аристократическому миру, но и «партии философов», с которыми он не так давно сотрудничал в Энциклопедии, – вот причины, породившие у Руссо желание оставить потомству обстоятельную автобиографию. К 1755–1756 гг. относится несколько набросков Руссо об отдельных эпизодах его жизни. В январе 1762 г. Руссо пишет Мальзербу четыре письма, объединенных общей темой; в этих письмах намечается контур морального автопортрета. Хотя и не предназначенные для общества, они все же явились первым сочинением Руссо, предметом которого был он сам. Крайняя чувствительность, стремление к независимости, разочарование в окружающей среде – этими особенностями натуры и мировоззрения Руссо объясняет необычность своих поступков. Уже здесь Руссо формулирует основной девиз «Исповеди», заимствованный у Ювенала: «*Vitam impendere vero*» (посвятить жизнь истине). Касаясь своего пристрастия к подробному самоизображению («я слишком люблю говорить о себе»), Руссо выражает уверенность в том, что он способен представить себя «без прикрас».

На основании писем к Мальзербу можно было предположить, что в недалеком будущем Руссо напишет книгу, в которой воспроизведет весь свой жизненный путь и покажет себя со всеми своими недостатками и достоинствами. Сам Руссо намекает на это своим корреспондентам; в начале 60-х гг. издатель его сочинений Рей, друзья Мульту и Дюкло торопят его, настойчиво требуют от него мемуаров, ссылаясь вдобавок на заинтересованность в них публики. Однако Руссо пока не спешит и только подготавливает сборник писем, относящихся к разным периодам, восстанавливая таким образом нить своей пестрой жизни. В годы 1757–1760 Руссо испытывает тяжелые переживания, вызванные его разрывом с энциклопедистами; особенно удручает его ссора с Дидро. К этим годам относится и несчастная любовь Руссо к г-же д'Удето. Еще трагичнее складываются его общественные дела. В то время как его произведения распространяются по всему миру – от Франции до России, от Германии до Северной Америки, – Руссо подвергается гонениям и репрессиям. Церковь предаст книгу «Эмил» анафеме, роман «Новая Элоиза» становится мишенью для шуток салонных остроумцев, парижский парламент грозит сжечь все, что им написано, власти отдадут распоряжение о его аресте. Угрожающими были для Руссо и вести с его родины. В 1763 г. женевец Троншен издает направленный против политических идей Руссо памфлет «Письма с равнины» (Руссо ответит на них «Письмами с горы»), а год спустя выходит осмеивающая Руссо анонимная брошюра, которую приписывали Вольтеру: «Мнение граждан» (*Le Sentiment des citoyens*). Руссо кажется, что вокруг него одни враги: слева – философы во главе с кружком Гольбаха, справа – церковники во главе с парижским епископом Кристофом Бомоном.

В такой тяжелой для него обстановке Руссо считает своей неотложной задачей защитить себя от клеветников, правдиво рассказать обо всем, что происходило с ним до сих пор.

<sup>1</sup> Текст статьи печатается с сокращениями.

Психологические предпосылки этого решения существенны не менее, чем социальные и политические. В Руссо 60-х гг. прежняя воинственность сочетается с настроением разочарования, усталости, меланхолии; живой интерес к проекту политического строя на Корсике (1765), в Польше (1767) – с равнодушием ко всему на свете. В одном из его писем содержатся полные горечи слова: «Мое существование сосредоточено лишь в моей памяти, я живу теперь только прошлым». Противоречивое состояние духа отражено и в самой «Исповеди»: с одной стороны, Руссо пишет ее как бы в утешение самому себе; с другой стороны, она – и средство самореабилитации, и оружие в борьбе с тем же прогнившим обществом, против которого были направлены его философские и политические трактаты. Руссо вложил в свою «Исповедь» глубокую страсть и тонкий лиризм. К тому моменту, когда в Мотье-Травер ослепленная яростью толпа закидала его камнями (1765), а протестанты Женевы и Берна изгнали его с острова Сен-Пьер, Руссо заканчивал работу над воспоминаниями о детстве и юности. В конце 1766 г. первая половина «Исповеди» была в основном готова.

В январе 1766 г. Руссо находился в Лондоне, приглашенный туда философом Юмом. С марта он жил в Вуттоне, где продолжал дорабатывать черновые наброски «Исповеди». Творческий подъем Руссо вскоре уступил место упадку сил, приступу подозрительности и беспокойства. Охваченному манией преследования Руссо и в Англии мерещились враги, которые будто бы замыслили против него заговоры. Руссо проявлял страх не только за себя, но и за рукопись «Исповеди»; он тщательно прятал ее от глаз посторонних. В мае 1767 г. Руссо снова во Франции. Здесь его приютил у себя Мирабо, затем герцог Конти, предоставивший ему замок Триэ, близ Жизора, где Руссо скрывался под именем Рену. Теперь, хотя и совсем без средств к существованию, Руссо находит в себе силы и желание продолжать работу над «Исповедью». Между 1767 и 1770 гг. Руссо ведет бродячую жизнь, тем не менее в Монкэне он занят второй половиной «Исповеди» – два года спустя после окончания первых шести книг, о чем он сам говорит в начале седьмой. В июне 1770 г. Руссо приезжает в Париж и поселяется на улице Плятриер (ныне улица Жан-Жака Руссо). Здесь он хочет внести некоторые изменения в текст «Исповеди»: например, перенести рассказ о своих злоключениях на острове Сен-Пьер в третью часть, куда должно было попасть также его путешествие в Англию. Но «Исповедь», как известно, осталась неоконченной; Руссо довел свою автобиографию лишь до 1765 г. Быть может, Руссо не в силах был больше взяться за перо по той причине, что избегал мучительных для него воспоминаний.

Между тем главная цель Руссо – разоблачение его противников (и действительных, и тех, кого он считал таковыми) не могла быть осуществлена, пока «Исповедь» составляла тайну ее автора. Летом 1770 г. Руссо предпринял публичные чтения рукописи в домах некоторых знатных лиц (у г-жи Надайак, графини д'Эгмон, у Дюссо, у маркиза Пезэ). Но чтения «Исповеди» вызвали в светском обществе недовольство, и полиция вскоре их запретила (после доноса г-жи д'Эпине). Все это потрясло и без того болезненно настроенного Руссо. Несколько лет спустя Руссо пишет два новых автобиографических сочинения: «Диалоги – Руссо судья Жан-Жака» (1775–1776) и «Прогулки одинокого мечтателя» (1777–1778); оба произведения были напечатаны после его смерти. Второе из них – лебединая песня Руссо. В «Диалогах» Руссо обсуждал с неким вымышленным французом свои недостатки и достоинства, защищая себя от наветов и упреков, которые щедро сыпались на него. Особенно возмущается Руссо тем, что его пристрастие к уединению толкуют как желчную мизантропию. Он доказывает, что мизантропы отнюдь не уединяются, а, напротив, живут среди людей и стараются постоянно причинять им зло, чего он делать не хочет. «Прогулки» – сочинение по настроению более спокойное, наполнено раздумьями на философские и моральные темы, о красоте природы, о прелести и мудрости уединения, раздумьями, навеянными улицами Парижа и его окрестностями. Руссо считал оба свои произведения дополнением к «Исповеди», но претендовать на это могут только «Прогулки».

В первых шести книгах «Исповеди» (от рождения до 1741 г.) преобладает оптимизм, граничащий с восторженным отношением к жизни, любопытством к людям, увлечение искусствами и науками. Руссо описывает свою жизнь в провинции, в деревне. Отдельные неудачи и разочарования не мешают ему воспринимать красоту объективного мира, а все отталкивающие стороны этого мира он научается относить за счет социального порядка, отклонившегося от природы и ее «естественных» законов. Вторая половина «Исповеди» (с 1742 по 1765 г.) преисполнена горечи, подозрительности, несмотря на отдельные светлые страницы. Здесь Руссо рассказывает о своем положении разночинца-литератора в столичном городе в период, когда его деятельность из стадии смутных надежд, брожения сил перешла в стадию зрелости, когда его трактаты возбудили ярость многочисленных врагов – одних из зависти к его таланту, других из ненависти к его идеям.

Решая вопрос о верности Руссо избранному им принципу – говорить только правду и о себе, и о других, – следует иметь в виду, что автор «Исповеди» находился уже на закате своей жизни и при всем желании не в силах был со всей точностью восстанавливать в памяти события прошлого. Сам Руссо не скрывает от читателей, что многое он успел позабыть и что ему приходится часто прибегать к помощи воображения. Ритм повествования «Исповеди» порой неровный: так, в первой книге описано шестнадцать лет жизни Руссо, во второй книге – всего один год и т. п. С чисто текстологической точки зрения «Исповедь» изобилует несовпадениями в разных редакциях рукописей, оправданием чему может служить тот факт, что при бесконечных своих переездах Руссо часто не имел при себе начатой рукописи; между отдельными стадиями работы над «Исповедью» случались порой длинные перерывы, и Руссо создавал новые варианты (отсюда три текста). Еще важнее учесть, что Руссо, обладавший необычайно эмоциональной натурой, не вполне свободен от известного субъективизма при оценке событий и людей, а это не могло не сказаться на отборе фактов, на смысле впечатлений, отраженных в «Исповеди». Особенно отрицательно проявилась эта черта характера Руссо там, где он касается философов Энциклопедии. Иногда бывает трудно различить грань, отделяющую несогласие Руссо с просветителями по линии мировоззрения, от болезненной раздражительности и мнительности, которые побуждают его подозревать невероятные козни с их стороны. Читатель, желающий понять все противоречия мысли и чувства Руссо, должен критически отнестись к этим страницам «Исповеди».

По одной «Исповеди», разумеется, невозможно написать биографию Руссо; эта книга слишком мозаична. Однако она и не претендует на то, чтобы служить полной хроникой событий его жизни. «Исповеди» придает единство не исчерпывающая полнота всех жизненных обстоятельств, связанных с личностью Руссо, а общая идея и самобытный колорит. В седьмой книге «Исповеди» Руссо разъяснил читателям свою задачу: она состоит в том, чтобы точно передать «историю его души». Художник слова, Руссо иногда сгущает краски, придавая своим описаниям напряженный драматизм; изображаемые им картины быта и нравов являются для него только поводом для лирических излияний. Показывая «всю правду своей природы» – даже ее «самые интимные и грязные лабиринты», Руссо всегда исходит из того, что «истина нравственная во сто раз больше заслуживает уважения, чем истина фактическая». Хулителям Руссо во все времена не удалось и не удастся дискредитировать основной тон «Исповеди» – страстное стремление к правде, и не только в отношении других, но прежде всего – самого себя. Именно поэтому на протяжении полутора столетий «Исповедь» Руссо не перестает привлекать читателей. Эта поистине неповторимая книга вызывает глубокий интерес не только своим автобиографическим материалом, но и смелым, тонким способом самоанализа, который так обогатил психологический арсенал классической литературы XIX–XX вв.

*И. ВЕРЦМАН*

## Часть первая

### Книга первая (1712–1728)

Intus et in cute<sup>{11}</sup>.

Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, – и этим человеком буду я.

Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь.

Пусть трубный глас Страшного суда раздастся когда угодно, – я предстану пред Верховным судьей с этой книгой в руках. Я громко скажу: «Вот что я делал, что думал, чем был. С одинаковой откровенностью рассказал я о хорошем и о дурном. Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не прибавил; и если что-либо слегка приукрасил, то лишь для того, чтобы заполнить пробелы моей памяти. Может быть, мне случилось выдавать за правду то, что мне казалось правдой, но никогда не выдавал я за правду заведомую ложь. Я показал себя таким, каким был в действительности: презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил всю свою душу и показал ее такую, какую ты видел ее сам, всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне: пусть они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия твоего престола в свою очередь с такой же искренностью раскроет сердце свое, и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе: «Я был лучше этого человека»<sup>{12}</sup>.

Я родился в Женеве в 1712 году, от гражданина Исаака Руссо и гражданки Сюзанны Бернар. Так как из весьма незначительного состояния, разделенного между пятнадцатью детьми, отец мой получил ничтожную долю, то существовал он исключительно ремеслом часовщика, в котором был очень искусен<sup>{3}</sup>. Богаче была моя мать, дочь пастора Бернара<sup>{4}</sup>. Она была одарена умом и красотой. Не без труда добился отец мой ее руки. Они полюбили друг друга чуть ли не со дня рождения; детьми восьми-девяти лет они каждый вечер гуляли по Трейлю;<sup>{5}</sup> в десять лет они уже не могли расстаться. Чувство, порожденное привычкой, было укреплено в них симпатией, согласием душ. Оба от природы нежные и чувствительные, они ожидали только мгновения, когда им откроется их склонность друг к другу, или, лучше сказать, это мгновение поджидало их, и каждый из них бросил свое сердце в раскрывшееся сердце другого. Судьба, которая, казалось, шла наперекор их страсти, только еще более разжигала ее. Влюбленный юноша, не имея возможности добиться своей возлюбленной, изнывал от горя; она посоветовала ему отправиться в путешествие, чтобы забыть ее. Он странствовал напрасно и вернулся еще более влюбленным, чем раньше. Ту, которую любил, он нашел нежной и верной. После этого испытания им оставалось только любить друг друга всю жизнь; они поклялись в этом, и небо благословило их клятву.

Габриэль Бернар, брат моей матери, влюбился в одну из сестер моего отца; но та согласалась выйти за него замуж только при том условии, чтобы брат ее женился на его сестре.

Любовь уладила все, и обе свадьбы состоялись в один и тот же день. Таким образом, мой дядя оказался мужем моей тетки, и дети их приходились мне двоюродными братьями и сестрами вдвойне. В конце года у каждой четы родился ребенок. Потом им пришлось расстаться.

Мой дядя Бернар был инженером; он отправился служить в Империю<sup>{6}</sup>, и в Венгрии, под начальством принца Евгения<sup>{7}</sup>, отличился при осаде Белграда и в сражении под его стенами. Отец после рождения моего единственного брата уехал в Константинополь, куда его пригласили, и сделался там часовщиком при серале. В его отсутствие красота моей матери, ее ум, ее таланты<sup>2</sup> привлекли поклонников. Самым ревностным из них был г-н де Клозюр, французский резидент. Верно, страсть его была сильна, если по прошествии тридцати лет я видел, что он растроган, говоря со мною о ней<sup>{8}</sup>. Моей матери защитой служила не только добродетель, – она нежно любила мужа; она попросила его скорей вернуться. Он бросил все и вернулся. Я был печальным плодом этого возвращения: я родился через десять месяцев, слабый и хворый. Я стоил жизни моей матери, и мое рождение было первым из моих несчастий.

Мне осталось неизвестным, как отец мой перенес эту потерю, но я знаю, что он остался безутешен. Он думал снова увидеть ее во мне, будучи не в силах забыть, что я отнял ее у него; когда он целовал меня, то по его вздохам, по его судорожным объятьям я чувствовал, что к его ласкам примешивается горькое сожаление, но от этого они становились еще нежней. Когда он говорил мне: «Жан-Жак, поговорим о твоей матери», я отвечал ему: «Значит, мы будем плакать, отец», и эти слова вызывали у него слезы. «Ах! – говорил он со стоном, – верни ее мне, утешь меня, заполни пустоту, которую она оставила в моей душе. Любил ли бы я тебя так сильно, будь ты только моим сыном?» Через сорок лет после ее смерти он скончался<sup>{9}</sup> на руках второй жены, но с именем первой на устах и с ее образом в сердце.

Таковы были творцы моих дней. Из всех даров, которыми наделило их небо, они оставили мне только чувствительное сердце; оно принесло им счастье и вызвало все несчастья моей жизни.

Я родился почти умирающим; было мало надежды на то, что удастся сохранить меня. Я нес в себе зародыш недуга, который усилили годы и который теперь иногда дает мне передышку только затем, чтобы заставить меня страдать еще более жестоко другим образом. Одна из сестер моего отца<sup>{10}</sup>, добрая и умная девушка, своим заботливым уходом спасла меня. В настоящее время, когда я пишу эти строки, она еще жива и, в восемьдесят лет, ухаживает за мужем, который моложе ее, но истощен пьянством. Дорогая тетушка, я прощаю вас за то, что вы заставили меня жить, и скорблю о том, что в конце вашей жизни я не могу окружить вас такими же нежными заботами, какими вы осыпали меня в начале моей.

Моя кормилица Жаклина тоже еще жива, здорова и крепка. Руки, открывшие мне глаза при рождении, закроют их после моей смерти.

Чувствовать я начал прежде, чем мыслить; это общий удел человечества. Я испытал его в большей мере, чем всякий другой. Не знаю, как я научился читать; помню только свои первые чтения и то впечатление, которое они на меня производили; с этого времени тянется непрерывная нить моих воспоминаний. От моей матери остались романы. Мы с отцом стали читать их после ужина. Сначала речь шла о том, чтобы мне упражняться в чтении по занимательным книжкам; но вскоре интерес стал таким живым, что мы читали по очереди без перерыва и проводили за этим занятием ночи напролет. Мы никогда не могли оставить книгу,

<sup>2</sup> Для скромного ее положения они были даже слишком блестящи, так как ее отец, священнослужитель, обожал ее и дал ей самое тщательное воспитание. Она рисовала, пела, аккомпанируя себе на теорбе<sup>{491}</sup>, была довольно начитанна и писала сносные стихи. Вот, например, что она сложила экспромтом во время отъезда брата и мужа, прогуливаясь со своей кузиной и двумя детьми, когда кто-то обратился к ней с замечанием об отсутствующих: Нам двое всех других милей. Мы их зовем в свои объятья. Любезней не сыскать друзей — Они для нас мужья и братья, Они отцы вон тех детей.



не дочитав ее до конца. Иногда мой отец, услышав утренний щебет ласточек, говорил смущенно: «Идем спать. Я больше ребенок, чем ты».

В короткое время при помощи такого опасного метода я не только с чрезвычайной легкостью научился читать и понимать прочитанное, но и приобрел исключительное для своего возраста знание страстей. У меня еще не было ни малейшего представления о вещах, а уже все чувства были мне знакомы. Я еще ничего не постиг – и уже все перечувствовал. Волнения, испытываемые мною одно за другим, не извращали разума, которого у меня еще не было; но они образовали его на особый лад и дали мне о человеческой жизни понятия самые странные и романтические; ни опыт, ни размышления никогда не могли как следует излечить меня от них.

Романы кончились вместе с летом 1719 года. Следующей зимой пошло другое. Исчерпав библиотеку моей матери, мы прибегли к доставшейся нам части библиотеки ее отца. По счастью, там нашлись хорошие книги; впрочем, иначе и быть не могло, потому что библиотека была составлена, правда, священником и даже ученым, что тогда было в моде, но человеком со вкусом и с умом. «История церкви и империи» Лесюэра<sup>{111}</sup>, «Рассуждение о всемирной истории» Боссюэ<sup>{112}</sup>, «Знаменитые люди» Плутарха, «История Венеции» Нани<sup>{113}</sup>, «Метаморфозы» Овидия, Лабрюйер<sup>{114}</sup>, «Миры» Фонтенеля<sup>{115}</sup>, его же «Диалоги мертвых» и несколько томов Мольера были перенесены в мастерскую моего отца, и я читал их ему каждый день, пока он работал. Я получил к чтению редкое, а в моем возрасте, быть может, исключительное пристрастие. Любимым моим автором стал Плутарх. Удовольствие, которое я испытывал, постоянно перечитывая его, немного излечило меня от моей страсти к романам; скоро я стал предпочитать Агесилая, Брута, Аристида – Орондату, Артамену и Юбе<sup>{116}</sup>. Интересное чтение, разговоры, которые оно порождало между отцом и мной, воспитали тот свободный и республиканский дух, тот неукротимый и гордый характер, не терпящий ярма и рабства, который мучил меня в продолжение всей моей жизни, проявляясь в положениях, менее всего подходящих для этого. Беспреданно занятый Римом и Афинами, живя как бы одной жизнью с их великими людьми, сам родившись гражданином республики и сыном отца, самую сильную страстью которого была любовь к родине, – я пламенел ею по его примеру, воображал себя греком или римлянином, становился лицом, жизнеописание которого читал; рассказы о проявлениях стойкости и бесстрашия захватывали меня, глаза мои сверкали, и голос мой звучал громко. Однажды, когда я рассказывал за столом историю Сцеволы<sup>{117}</sup>, все перепугались, видя, как я подошел к жаровне и протянул над нею руку, чтобы воспроизвести его подвиг.

У меня был брат, старше меня на семь лет. Он обучался ремеслу отца. Чрезмерная любовь ко мне приводила к тому, что на него меньше обращали внимания, чего я совершенно не могу одобрить. Это пренебрежение сказалось на его воспитании. Он начал вести распутную жизнь, не достигнув еще возраста, когда можно стать настоящим распутником. Его устроили к другому хозяину, но он продолжал потихоньку исчезать, как это было и в отцовском доме. Я его почти не видел и, можно сказать, едва был с ним знаком; тем не менее я любил его нежно, и он меня любил, насколько может любить кого-нибудь такой повеса. Помню, как один раз, когда разгневанный отец беспощадно его наказывал, я стремительно бросился на выручку и крепко обнял брата. Я укрыл его своим телом, получая удары, предназначенные ему, и так настойчиво подставлял свою спину, что отец наконец сжалился, оттого ли, что был обезоружен моими криками и слезами, или оттого, что не хотел наказывать меня больше, чем его. В конце концов мой брат совсем сбился с пути: убежал из дому и совершенно исчез. Через некоторое время мы узнали, что он в Германии<sup>{118}</sup>. Он ни разу не написал. С тех пор о нем не было никаких вестей, и вот каким образом я стал единственным сыном.

Если этого бедного мальчика воспитывали небрежно, то нельзя сказать того же обо мне; за детьми короля не могли бы ухаживать с большим усердием, чем ухаживали за мной в первые годы моей жизни, когда все окружающие обожали меня и, что случается гораздо реже, обращались со мной, как с ребенком любимым, но отнюдь не балуемым. Никогда, ни разу до моего ухода из родительского дома, не позволили мне бегать по улице с другими детьми; никогда не приходилось подавлять во мне или удовлетворять ни одной из тех вздорных причуд, в которых обвиняют природу, но которые порождает воспитание. У меня были недостатки моего возраста: я был болтун, лакомка, иногда лгун. Я мог стащить фрукты, конфеты, снедь, но никогда мне не доставляло удовольствия делать зло, вред, огорчать окружающих, мучить бедных животных. Вспоминаю, однако, что я помочился однажды в кастрюлю одной из наших соседок, мадам Кло, в то время как она была на проповеди. Признаюсь даже, что это воспоминание до сих пор вызывает у меня смех, потому что мадам Кло, женщина, в сущности, добрая, была все-таки самая ворчливая старуха, какую я только знал. Вот краткая и правдивая история всех моих детских проступков.

Как мог бы я сделаться злым, имея перед глазами только примеры нежности и видя лучших людей на свете вокруг себя? Мой отец, моя тетка, моя кормилица, мои родственники, наши друзья, наши соседи – все окружавшие меня, по правде говоря, не потакали мне, но любили меня, и я тоже любил их. Для моих капризов было так мало поводов, и так редко им давали отпор, что они и не приходили мне в голову. Могу поклясться, что до моего порабощения хозяину я не знал, что такое прихоть. Кроме того времени, когда я читал или писал возле отца, и того, когда няня водила меня гулять, я был постоянно с тетей, глядел, как она вышивает, слушал, как она поет, сидя или стоя подле нее; и я был доволен. Ее веселость, ее нежность, ее приятное лицо оставили во мне такое сильное впечатление, что я и теперь вижу выражение ее лица, взгляд, фигуру, помню ее ласковые слова; я мог бы описать, как она была одета и причесана, не забыв даже двух черных локонов на висках, по моде того времени.

Я уверен, что ей обязан я склонностью или, вернее, страстью к музыке, – страстью, вполне развившейся во мне только значительно позже. Она знала невероятное количество арий и песен и напевала их очень нежным голосом. Ясность души этой превосходной девушки отгоняла от нее и от всех, кто ее окружал, задумчивость и грусть. Прелесть ее пения была так сильна, что несколько ее песен навсегда остались у меня в памяти, а некоторые, совершенно забытые с самого детства, теперь, когда я потерял ее, по мере того как я старею, возникают вновь с невыразимым очарованием. Кто сказал бы, что я, старый ворчун, снedaемый заботами и огорчениями, иной раз ловлю себя на том, что плачу, как ребенок, бормоча эти песенки голосом уже разбитым и дрожащим? Особенно ясно вспоминается мне мотив одной из песен, но половина слов упорно отказывается уступить усилиям моей памяти, хотя я смутно припоминаю рифмы. Вот начало и то, что я мог припомнить из остального:

Тирсис, свирелью  
 Не зови меня под вяз  
 В поздний час, —  
 Ведь звонкой трелью  
 В селе ты выдал нас.  
 . . . . похмелью  
 . . . . греха  
 . . . . пастуха.  
 Горести влечет за собой веселье<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Перевод стихотворных отрывков в тексте принадлежит А. Мушниковой.

Я стараюсь постичь, в чем заключается для меня нежное очарование этой песни; странно и непонятно, но я не в силах допеть ее до конца без того, чтобы слезы не остановили меня. Сотни раз я собирался написать в Париж и попросить, чтобы отыскивали остальные слова, если есть еще кто-нибудь, кто их помнит. Но я почти уверен, что удовольствие, которое я испытываю, вспоминая эту песню, отчасти поблекнет, если у меня будут доказательства, что и другие, кроме тети Сюзон, пели ее.

Таковы были первые мои привязанности на пороге жизни, так начало складываться и проявляться мое сердце, в одно и то же время такое гордое и такое нежное, мой характер, женственный, но тем не менее неукротимый, который всегда склонялся то к слабости, то к мужеству, то к мягкости, то к стойкости, до конца моей жизни ставил меня в противоречия с самим собой и приводил к тому, что воздержание и наслаждение, удовольствие и благоразумие одинаково ускользали от меня.

Это воспитание было прервано случаем, последствия которого повлияли на всю мою жизнь. У моего отца произошло столкновение с неким господином Готье, французским капитаном, имевшим родственников среди членов совета. У этого Готье, человека наглого и подлого, пошла носом кровь, и он из мести обвинил моего отца, будто тот обнажил шпагу в пределах города. Отца хотели посадить в тюрьму, но он заупрямился, требуя, чтобы обвинитель, согласно закону, был заключен вместе с ним; не добившись этого, он предпочел уехать из Женевы и на всю жизнь оставить родину, чем уступить в таком деле, в котором, как ему казалось, были затронуты его честь и свобода.

Я остался под опекой моего дяди Бернара, служившего тогда в Женевской крепости. Старшая дочь его умерла, но у него был сын одних лет со мной. Обоих нас отдали в Боссе<sup>[19]</sup>, на пансион к священнику Ламберсье, чтобы обучить там, наряду с латынью, всякой ненужной дребедени, присоединяемой к ней под названием образования.

Два года, проведенные в деревне, немного смягчили мою римскую суровость и вернули меня к детству. В Женеве, где меня ни к чему не принуждали, я любил занятия; чтение было почти единственным моим развлечением; в Боссе работа заставила меня полюбить игры, служившие отдыхом от нее. Деревенская жизнь была так нова для меня, что я не уставал наслаждаться ею. Я почувствовал такое сильное расположение к ней, что оно уже никогда не могло угаснуть. Воспоминание о счастливых днях сельской жизни всегда заставляло меня жалеть о ее удовольствиях вплоть до того времени, когда я вернулся к ней. Г-н Ламберсье был человек очень разумный; не пренебрегая нашим образованием, он вместе с тем не обременял нас чрезмерными занятиями. Доказательством его умелого руководства служит то, что, несмотря на мою нелюбовь к принуждению, я никогда не вспоминал с отвращением о часах моих занятий, и если я усвоил у него не особенно много, то усвоенному научился без труда и ничего из этого не забыл.

Простота этой сельской жизни принесла мне неоценимое благо, открыв мое сердце дружбе. До сих пор мне были знакомы только чувства возвышенные, но воображаемые. Привычка жить мирно бок о бок тесно связала меня с моим двоюродным братом Бернаром. Вскоре я стал питать к нему чувства более нежные, чем к своему брату, и сохранил их навсегда. Это был высокий мальчик, очень худой, очень хилый и настолько же добрый сердцем, насколько слабый телом; он не слишком злоупотреблял предпочтением, которое оказывали ему в доме как сыну моего опекуна. Наши занятия, развлечения, вкусы были одни и те же; мы были одиноки, одного возраста, каждый из нас нуждался в товарище, разлучить нас — значило бы, в известном смысле, нас уничтожить. Хотя у нас было мало поводов для доказательства взаимной привязанности, она достигала крайних пределов, и мы не только не могли прожить ни одной минуты врозь, но не представляли себе, что это когда-нибудь может случиться. Оба с характером, легко уступающим ласке, услужливые, когда нас не принуждали к этому, мы всегда были во всем согласны между собой. Если благодаря благосклонности

к Бернару наших воспитателей он в их присутствии имел некоторое преимущество передо мной, то, когда мы оставались одни, преимущество было на моей стороне, и равновесие восстанавливалось. Во время наших занятий, когда он запинался, я подсказывал ему; когда моя задача была решена, я помогал решать ему; а в наших играх мой характер, более деятельный, всегда служил ему путеводителем. Словом, наши характеры так хорошо подходили друг к другу и дружба, соединявшая нас, была так искренна, что в течение более пяти лет, которые мы прожили, почти не разлучаясь<sup>{20}</sup>, как в Боссе, так и в Женеве, мы, признаюсь, хотя и часто дрались, но никогда нас не приходилось разнимать, никогда наша ссора не продолжалась более четверти часа, и ни разу мы не пожаловались друг на друга. Подробности эти наивны, если угодно, но из них складывается образец отношений, быть может, единственный, с тех пор как существуют дети.

Образ жизни в Боссе так подходил для меня, что если б он продлился дольше, то окончательно определил бы мой характер. Чувства нежные, благожелательные, мирные составляли его основу. Думаю, что никогда ни одно человеческое существо не было от природы менее тщеславно, чем я. Я поднимался порывами до возвышенных движений души, но тотчас же снова впадал в обычную вялость. Быть любимым всеми близкими было моим живейшим желанием. Я был кроток; мой двоюродный брат тоже; наши воспитатели сами были такими же. За целые два года я не стал ни свидетелем, ни жертвой каких-либо злобных чувств. Все питало в моем сердце склонности, заложенные природой. Самой большой радостью для меня было видеть, что все довольны мной и всем вокруг. Я всегда буду помнить, что в храме, когда я запинался, отвечая по катехизису, ничто так не смущало меня, как признаки беспокойства и огорчения на лице мадемуазель Ламберсье. Одно это удручало меня больше, чем стыд публичного промаха, хотя и это до крайности волновало меня; и я могу здесь сказать, что ожидание выговора от мадемуазель Ламберсье тревожило меня гораздо меньше, чем боязнь огорчить ее.

Однако она, как и ее брат, не упускала случая, когда это было необходимо, проявить строгость, но строгость эта, почти всегда справедливая, никогда не переходила границ и поэтому только огорчала, но не возмущала меня. Я больше боялся не угодить, чем понести за это кару, и признак неудовольствия был для меня тягостней телесного наказания. Мне неудобно высказаться яснее, однако нужно сделать это. Как поспешили бы изменить методу обращения с детьми, если бы лучше видели отдаленные последствия той методы, которую постоянно применяют без разбора и часто безрассудно! Великий урок, который можно извлечь из примера, столь же обычного, сколь пагубного, вынуждает меня привести его.

Так как мадемуазель Ламберсье любила нас, как мать, она пользовалась и материнской властью, простирая ее до того, что подвергала нас порой, когда мы этого заслуживали, наказанию, обычному для детей. Довольно долго она ограничивалась лишь угрозой, и эта угроза наказанием, для меня совершенно новым, казалась мне очень страшной, но после того, как она была приведена в исполнение, я нашел, что само наказание не так ужасно, как ожидание его. И вот что самое странное: это наказание заставило меня еще больше полюбить ту, которая подвергла меня ему. Понадобилась вся моя искренняя привязанность, вся моя природная мягкость, чтобы помешать мне искать случая снова пережить то же обращение с собой, заслужив его; потому что я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности, вызывавшую во мне больше желания, чем боязни снова испытать это от той же руки. Правда, к этому, несомненно, примешивалась некоторая доля преждевременно развившегося полового инстинкта, и то же наказание, полученное от ее брата, вовсе не показалось бы мне приятным. Впрочем, зная его характер, мне нечего было опасаться такой замены; и если я не старался заслужить наказание, то исключительно из боязни рассердить мадемуазель Лам-

берсье; ибо так сильна надо мной власть доброжелательности, даже той, которая порождена чувственностью, что она всегда повелевала в моем сердце.

Повторение, которое я отдалял, боясь его, произошло без моей вины, то есть помимо моей воли, и я им воспользовался, могу сказать, с чистой совестью. Но этот второй раз был и последним, – мадемуазель Ламберсье, несомненно заметив по какому-то признаку, что это наказание не достигает цели, объявила, что она от него отказывается, так как оно слишком утомляет ее. До тех пор мы спали в ее комнате, а зимой иногда даже в ее постели. Через два дня нас перевели в другую комнату, и с тех пор я удостоился чести, без которой прекрасно обошелся бы: она стала обращаться со мной, как с большим мальчиком.

Кто бы мог подумать, что это наказание, которому подвергла восьмилетнего ребенка девушка тридцати лет, определило мои вкусы, мои желания, мои страсти, меня самого на всю остальную жизнь, и как раз в направлении, обратном тому, что должно было произойти естественным путем? В то время как во мне зажглась чувственность, желания мои так изменились, что, ограничившись испытанным, я не стал искать ничего другого. Хотя чуть ли не с самого рождения кровь моя была полна чувственного огня, я сохранил себя чистым и незапятнанным до того возраста, когда развиваются самые холодные и самые медлительные темпераменты. Мучаясь долго, сам не зная отчего, я пожирал пламенным взглядом красивых женщин; мое воображение беспрестанно напоминало их мне только для того, чтобы распорядиться ими по-своему и сделать их всех девицами Ламберсье.

Даже по достижении возмужалости этот странный вкус, по-прежнему упорный и доведенный до извращенности, до безумия, сохранил во мне благонравие, хотя, казалось бы, должен был лишить меня его. Если когда-нибудь воспитание было скромным и целомудренным, то именно такое воспитание я и получил. Три мои тетки отличались не только примерной рассудительностью, но и сдержанностью, давно уже незнакомой женщинам. Отец мой, охотник до наслаждений, но любезничавший по старой моде, никогда не заводил с женщинами, которых он любил, разговоров, способных заставить покраснеть девушку, и нигде уважение к детям не шло так далеко, как в моей семье; не менее внимательным ко мне в этом отношении был и г-н Ламберсье; одна очень хорошая служанка была выставлена им за дверь за какое-то немного вольное слово, сказанное при нас.

До своей юности я не только не имел ясного понятия о близости полов, но никогда смутное представление об этом не возникало у меня иначе, как в отталкивающем и противном виде. К публичным женщинам я чувствовал гадливость, которая осталась во мне навсегда; я не мог видеть развратника без чувства презрения, даже без ужаса; мое омерзение достигло высшей степени после того, как однажды, идя в Малый Сакконе по выбитой в горах дороге, я заметил по обеим ее сторонам углубления в земле, в которых, как мне говорили, эти люди совершали свои совокупления. То, что я наблюдал у собак, тоже всегда приходило мне на ум, когда я думал об этом, и от одного этого воспоминания меня начинало тошнить.

Эти предрассудки воспитания, сами по себе способные сдерживать первые вспышки пылкого темперамента, как я сказал, получили поддержку в уклонении, которое вызвали у меня первые проявления чувственности. Рисую в воображении лишь то, что перечувствовал, я, несмотря на кипение крови, причинявшее мне сильное беспокойство, мог устремлять свои желания только к известному мне виду сладострастия, никогда не доходя до другого, который мне сделался ненавистным и который был так близок к первому, хотя я об этом и не подозревал. В своих глупых фантазиях, в своих эротических исступлениях я прибегал к воображаемой помощи другого пола, не подозревая, что он пригоден к иному обращению, чем то, к которому я пламенно стремился.

Таким образом, обладая темпераментом очень пылким, очень сладострастным, очень рано пробудившимся, я тем не менее прошел возраст возмужалости, не желая и не зная других чувственных удовольствий, кроме тех, с какими познакомила меня, совершенно

невинно, мадемуазель Ламберсье, а когда время сделало меня наконец мужчиной, случилось так, что меня опять спасло то самое, что должно было бы погубить. Моя прежняя детская склонность, вместо того чтобы исчезнуть, до такой степени соединилась с другой, что я никогда не мог отделить ее от желаний, зажженных чувственностью. И это безумие, в сочетании с моей природной робостью, делало меня всегда очень непредприимчивым с женщинами; у меня не было смелости все сказать или возможности все сделать, ибо тот род наслаждения, по отношению к которому другое было для меня лишь последним пределом, не мог быть самостоятельно осуществлен тем, кто его желал, ни отгадан той, которая могла его доставить. Всю жизнь я возделел и безмолвствовал перед женщинами, которых больше всего любил. Никогда не смея признаться в своей склонности, я по крайней мере тешил себя отношениями, сохранявшими хотя бы представление о ней. Быть у ног надменной возлюбленной, повиноваться ее приказаниям, иметь повод просить у нее прощения – все это доставляло мне очень нежные радости; и чем больше мое живое воображение воспламеняло мне кровь, тем больше я походил на охваченного страстью любовника. Понятно, что этот способ ухаживания не ведет к особенно быстрым успехам и не слишком опасен для добродетели тех, кто является их предметом.

Таким образом, я очень мало обладал, но это не мешало мне наслаждаться по-своему, то есть в воображении. Вот каким образом мои чувственные стремления, в согласии с моим робким характером и романтическим складом ума, сохранили в чистоте мои чувства и мою нравственность; но те же самые наклонности, возможно, погрузили бы меня в самое грубое сладострастие, будь у меня больше бесстыдства.

Я сделал первый и самый тягостный шаг в темном и грязном лабиринте моих признаний. Трудней всего признаваться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно. Отныне я уверен в себе; после того, что я только что осмелился сообщить, ничто уже не может остановить меня. Чего стоят мне подобные признания, можно судить по тому, что в течение всей моей жизни меня не раз увлекало безумие страсти возле тех, кого я любил, лишая меня способности видеть и слышать, пронизывая все мое тело судорожным трепетом возбуждения, но никогда не мог я отважиться признаться в моем безумии, не мог даже в самых интимных отношениях умолять о единственной милости, которой мне недоставало. Это случилось со мной только раз, в детстве, с девочкой моих лет, да и то предложение исходило от нее.

Восходя таким образом к первым проявлениям моих чувствований, я нахожу в них элементы, кажущиеся иной раз несовместимыми, но тем не менее соединившиеся, чтобы с силой произвести действие однородное и простое; и нахожу также другие, с виду тождественные, но образовавшие благодаря стечению известных обстоятельств столь различные сочетания, что трудно представить себе, чтобы между ними была какая-нибудь связь. Кто подумал бы, например, что один из самых могущественных двигателей моей души исходил из того же источника, из которого в мою кровь лились изнеженность и сладострастие? Не покидая предмета, о котором только что шла речь, я покажу, сколь несходное впечатление произвел он в другом случае.

Как-то раз, оставшись один, я учил урок в комнате, смежной с кухней; служанка положила сушить на плиту гребенки мадемуазель Ламберсье. Когда она вернулась за ними, оказалось, что у одной гребенки половина зубьев сломана. Кто виновник этого? Никто, кроме меня, не входил в комнату. Меня допрашивают; я утверждаю, что не трогал гребенки. Г-н Ламберсье и его сестра убеждают меня, угрожают мне, наступают на меня, – я упрямо стою на своем; но улика была слишком очевидна, она пересилила все мои возражения, хотя впервые было замечено, что я лгу так дерзко. К делу отнеслись серьезно: оно того стоило. Злость, ложь, упорство казались одинаково заслуживающими наказания; но, на беду, уже не мадемуазель Ламберсье произвела его надо мной. Написали моему дяде Бернару; он прие-

хал. Мой бедный двоюродный брат был обвинен в другом, не менее тяжком проступке, и мы оба подверглись одному наказанию. Оно было ужасно. Если бы, ища лекарства в самой болезни, пожелали навсегда подавить мои извращенные чувства, то и тогда не могли бы лучше взяться за дело. И нужно сказать, что чувства эти надолго оставили меня в покое.

У меня не удалось вырвать требуемое признание. Меня призывали к ответу много раз, довели до ужасного состояния, но я был непоколебим. Мне легче было умереть, и я решился на это. Самой силе пришлось сдаться перед дьявольским упрямством ребенка, – так называли мою стойкость. Наконец я вышел из этого ужасного испытания, истерзанный, но торжествующий.

Прошло почти пятьдесят лет со времени этого происшествия, теперь мне нечего бояться наказания за тот случай, и вот я объявляю перед лицом неба, что я был в нем неповинен, что я не ломал и не трогал гребня, не подходил к плите и даже не думал об этом. Пусть меня не спрашивают, как сломался гребень, – я этого не знаю и не могу понять; знаю одно только, что в этом я был неповинен.

Пусть представят себе характер, робкий и покорный в повседневной жизни, но пламенный, гордый, неукротимый в страстях, характер ребенка, всегда повиновавшегося голосу рассудка, всегда встречавшего обращение ласковое, ровное, приветливое, не имевшего даже понятия о несправедливости и в первый раз испытывавшего столь ужасную несправедливость со стороны людей, которых он любил и уважал больше всего. Какое крушение понятий! Какое смятение чувств! Какой переворот в сердце, в мыслях, во всем его духовном, нравственном существе! Я говорю: пусть представят себе все это, если возможно, а я совершенно не способен разобрать и проследить во всех мелочах то, что происходило тогда во мне.

У меня еще недоставало разума, чтобы понять, насколько видимость обличает меня, и поставить себя на место других. Я стоял на своем и чувствовал только суровость страшного возмездия за преступление, которого я не совершил. Телесная боль, хотя и сильная, была для меня мало чувствительна; я испытывал только негодование, бешенство, отчаяние. Мой двоюродный брат, находясь приблизительно в том же положении, будучи наказан за невольную ошибку, как за умышленный проступок, приходил в ярость по моему примеру и, так сказать, настраивал себя на один лад со мной. Лежа в одной постели, мы судорожно сжимали друг друга в объятиях, мы задыхались, и когда наши юные сердца, немного успокоившись, были в состоянии излить свой гнев, мы поднимались на нашем ложе и изо всех сил кричали: «Carnifex! Carnifex! Carnifex!»<sup>4</sup>

И сейчас еще, когда пишу эти строки, я чувствую, как учащается мой пульс; эти минуты будут всегда у меня в памяти, хотя бы я прожил сто тысяч лет. Первое ощущение насилия и несправедливости так глубоко запечатлелось в моей душе, что все мысли, связанные с ним, будят во мне и прежнее волнение; и это чувство, в своем истоке относившееся лично ко мне, так упрочилось и так отрешилось от всего личного, что при виде любого несправедливого поступка или даже при рассказе о несправедливости, над кем бы и где бы ее ни совершили, – мое сердце так горит негодованием, как будто я сам являюсь жертвой. Когда я читаю о жестокостях свирепого тирана, об изощренном коварстве лицемера-священника, я охотно пустился бы в путь, чтобы заколоть этих презренных, хотя бы при этом мне пришлось сто раз погибнуть. Я часто вгонял себя в пот, стараясь догнать или попасть камнем в петуха, корову, собаку, всякое животное, на моих глазах мучившее другое животное единственно потому, что было сильнее. Это чувство, возможно, у меня врожденное, и думаю, что это так; но впечатление от первой несправедливости, испытанной мною, было столь долго и крепко с ним связано, что значительно усилило его.

<sup>4</sup> Палач! (лат.)

И вот пришел конец моей ясной детской жизни. С этого момента я перестал наслаждаться невозмутимым счастьем, и даже теперь чувствую, что воспоминания о прелестях моего детства на этом кончаются. Мы оставались в Боссе еще несколько месяцев. Мы переживали то, что переживал первый человек, еще не изгнанный из рая, но уже переставший наслаждаться им: все было как будто прежним, но на деле жизнь пошла совсем по-другому. Привязанность, дружба, уважение, доверие уже не соединяли больше учеников и воспитателей; мы уже не смотрели на них, как на богов, читающих в наших сердцах; мы уже меньше стыдились дурных поступков и больше боялись быть уличенными; мы стали скрываться, противоречить, лгать. Все пороки, свойственные нашему возрасту, развращали нашу невинность и безобразили наши игры. Даже сельская жизнь утратила в наших глазах обаяние сладостного покоя и простоты, идущих прямо к сердцу; она казалась нам теперь пустынной и мрачной; она как бы покрылась пеленой, скрывавшей от нас ее красоту. Мы перестали ухаживать за своими садиками, за цветами и травами. Мы уже не копались в земле и не вскрикивали от радости, видя, что брошенное в нее зерно дало росток. Нам надоела эта жизнь, и мы надоели воспитателям; мой дядя взял нас, и мы расстались с г-ном и с мадемуазель Ламберсье, пресыщенные друг другом и мало сожалея о разлуке.

Почти тридцать лет прошло со времени моего отъезда из Боссе, и я ни разу не вспомнил о пребывании там с удовольствием и сколько-нибудь связно. Но с тех пор как, перейдя зрелый возраст, я стал клониться к старости, я замечаю, что эти воспоминания возникают вновь, вытесняя все другие, и запечатлеваются в моей памяти в образах, очарование и сила которых растет с каждым днем; как будто я уже чувствую, что жизнь ускользает, и стараюсь поймать ее у самого начала. Мельчайшие события того времени милы мне единственно потому, что они относятся именно к тому времени. Я вспоминаю во всех подробностях все места, всех людей, часы дня. Вижу служанку и лакея, убирающих комнату; ласточку, влезающую в окно; муху, садящуюся мне на руку, в то время как я отвечаю урок; вижу убранство комнаты, где мы находились: шкаф г-на Ламберсье по правую руку, гравюру, изображающую всех пап, барометр, большой календарь, кусты малины, которые затеняли окно и порой тянулись в комнату из сада, расположенного выше, нежели наш дом, выходивший в него задним крыльцом. Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом. Отчего мне не решиться поведать все маленькие происшествия того счастливого возраста, заставляющие меня еще и сейчас вздрагивать от радости, когда я вспоминаю их. Среди них есть пять или шесть, о которых мне особенно хотелось бы упомянуть. Договоримся. Я избавлю вас от пяти, но хочу сообщить об одном-единственном – при условии, что мне позволят рассказывать как можно дольше, чтобы продлить мое удовольствие.

Если б я думал только о вашем удовольствии, я мог бы выбрать происшествия с мадемуазель Ламберсье, зад которой, вследствие ее неудачного падения на покато́м лугу, предстал во всей красе перед сардинским королем во время его проезда; но происшествие с ореховым деревом на площадке для меня более занимательно, так как тут я был действующим лицом, а при падении мадемуазель Ламберсье – только зрителем; и, признаться, мне ничуть не хотелось смеяться над этим случаем, хотя и комичным самим по себе, но огорчившим меня, так как он произошел с особой, которую я любил, как мать, а может быть, и больше.

О вы, читатели, жаждущие услышать великую повесть об ореховом дереве на площадке, выслушайте эту ужасную трагедию без содрогания, если можете!

Возле двора, слева от ворот, была площадка со скамейкой, на которой часто сидели днем, но в этом месте совсем не было тени. Чтобы создать ее, г-н Ламберсье посадил там ореховое дерево. Посадка была произведена торжественно: оба питомца были восприимчивыми, и пока закапывали яму, мы держали дерево каждый одной рукой, распевая победные песни. Для полива вокруг дерева устроили нечто вроде бассейна. Каждый день, жадно



созерцая эту поливку, мы с двоюродным братом все более укреплялись в очень естественной мысли, что гораздо лучше посадить дерево на площадке, чем водрузить знамя на вражеской крепости, и мы решили добыть себе эту славу, не разделяя ее ни с кем.

Для этого мы срезали черенок молодой ивы и посадили его на площадке, в восьми или десяти шагах от величественного орехового дерева. Мы не забыли также сделать углубление вокруг нашей ивы; трудность заключалась в том, чтобы наполнить это углубление, так как вода была далеко, а нам не позволяли за ней бегать. Между тем она была совершенно необходима для нашего черенка. В течение нескольких дней мы пускались на всевозможные хитрости, чтобы добывать воду; и нам это так хорошо удавалось, что мы вскоре увидели, как на иве набухают почки и распускаются маленькие листья, рост которых мы измеряли каждый час, уверенные, что ива, хотя и не достигавшая фута над землей, скоро будет давать нам тень.

Наше дерево, поглощая нас целиком, делало нас совершенно неспособными к прилежанию в учении; мы были как в бреду. Не понимая, что с нами творится, нам стали давать меньше воли, чем раньше, и мы уже предвидели приближение роковой минуты, когда наше дерево останется без воды, и приходили в отчаяние, ожидая, что оно засохнет и погибнет. Наконец нужда – мать изобретательности – подсказала нам способ спасти и себя, и дерево от верной гибели: он заключался в том, чтобы провести под землей канавку, которая тайно подводила бы к иве часть воды, предназначавшейся для поливки орехового дерева. Это предприятие, выполненное с увлечением, удалось, однако, не сразу. Мы сделали такой неудачный наклон, что вода совсем не текла, земля обваливалась и засыпала канавку, вход наполнялся грязью; все шло вкривь и вкось. Но мы не падали духом: *Omnia vincit labor improbus*<sup>5</sup>.

Мы углубили и канавку, и наш бассейн, чтобы дать воде свободное течение; разрезали днища от ящиков на узкие дощечки, укрепили эти планочки – одни плашмя друг за другом, другие по обеим сторонам первых и под углом к ним, сделав из них треугольный желоб для нашего канала. При входе в него мы установили узкие щепочки, переплели их, и они, образуя нечто вроде решетки или сетки, задерживали грязь и камни, не закрывая прохода для воды. Мы заботливо прикрыли наше сооружение землей, хорошо утоптали ее; и в день, когда все было готово, обуреваемые надеждой и страхом, ждали часа поливки. После бесконечного ожидания этот час наконец настал; г-н Ламберсье, по обыкновению, пришел, чтобы присутствовать при этой операции, во время которой мы оба держались позади него, чтобы скрыть наше дерево, но он, по счастью, стоял к нему спиной.

Едва успели вылить первое ведро воды, как мы увидели, что она течет в наш бассейн. При этом зрелище благоразумие оставило нас, и мы так закричали от радости, что г-н Ламберсье обернулся; это было очень печально, потому что ему доставляло огромное удовольствие видеть, как хороша земля у его орехового дерева и как она жадно пьет воду. Увидя, что вода растекается на два бассейна, он, пораженный, в свою очередь испускает крик, озирается, замечает жульничество, резко приказывает принести себе заступ, наносит такой удар, что щепки от наших досок летят в воздух, и, крича во все горло: «Водопровод! Водопровод!» – сокрушает все безжалостными ударами, из которых каждый разил нас в самое сердце. В одно мгновение доски, канал, бассейн, ива – все было разрушено, все было срыто, и во время этого ужасного разгрома не было произнесено ни одного слова, кроме восклицания, которое он повторял без конца. «Водопровод! – кричал он, уничтожая наше сооружение. – Водопровод! Водопровод!»

Подумают, что приключение имело плохие последствия для маленьких архитекторов. Ошибутся: все кончилось на этом. Г-н Ламберсье не сказал нам ни слова упрека, не смотрел на нас сердито и больше не говорил с нами об этом; мы даже услышали через некото-

<sup>5</sup> Бесчестный труд преодолет все (*Вергилий*, *Георгики*, I, 144–145).

рое время, как он смеялся со своей сестрой во все горло, – потому что смех его был слышен издали; и – что еще удивительней – мы сами, когда прошло первое потрясение, не были слишком огорчены. Мы посадили другое дерево в другом месте и, часто вспоминая катастрофу, погубившую первое дерево, повторяли с пафосом: «Водопровод! Водопровод!» До этого у меня временами бывали приступы гордости, когда я воображал себя Аристидом или Брутом. А здесь во мне впервые заговорило явное тщеславие. Построить собственными руками водопровод, заставить черенок соперничать с большим деревом казалось мне делом, достойным высшей славы. В десять лет я судил об этом лучше, чем Цезарь в тридцать.

Мысль об этом ореховом дереве и маленькая история, с ним связанная, так хорошо сохранились у меня в памяти или снова возникли в ней, что одним из приятнейших для меня замыслов во время моего путешествия в Женеву, в 1754 году, было отправиться в Боссе, чтобы вновь увидеть памятники моих детских игр и особенно – милое ореховое дерево, которому в то время должно было исполниться уже треть века. Но меня непрерывно осаждали, я так мало мог располагать собой, что у меня не нашлось времени удовлетворить свое желание. Мало вероятно, чтобы такой случай когда-либо снова представился мне. Однако я не теряю ни желания, ни надежды и почти уверен, что, если когда-нибудь вернусь в эти дорогие места и найду мое милое ореховое дерево еще в живых, – я орошу его слезами.

По возвращении в Женеву я провел около трех лет у моего дяди, ожидая, когда решат, что со мною делать. Так как дядя предназначал своего сына в инженеры, он немного выучил его рисовать и познакомил с «Элементами» Эвклида. Я учился за компанию и пристрастился к занятиям, особенно к рисованию. Между тем обсуждали вопрос – сделать ли из меня часовщика, адвоката или священника. Я предпочитал стать священником, потому что говорить проповедь казалось мне прекрасным. Но доход от имения моей матери, который еще надо было поделить между мной и братом, был слишком мал, чтобы я мог продолжать учение. Мой возраст позволял не слишком спешить с выбором, и я оставался пока что у дяди, почти ничего не делая и не переставая платить, как и подобало, порядочную сумму за свое содержание.

Дядя, подобно моему отцу, был любителем удовольствий, но не умел подчиняться своим обязанностям, как это делал отец, и довольно мало заботился о нас. Моя тетка была женщина набожная, немного пиетистка<sup>[21]</sup> и больше любила распевать псалмы, чем заниматься нашим воспитанием. Нам была предоставлена почти полная свобода, которой мы, однако, никогда не злоупотребляли. Всегда неразлучные, мы довольствовались обществом друг друга; не имея охоты водиться с сорванцами нашего возраста, мы не переняли ни одной из разнузданных привычек, которые могла бы нам внушить праздность. Я даже не прав, изображая нас праздными, так как мы были ими менее чем когда-либо, и, что было особенным счастьем, – все забавы, которыми мы последовательно увлекались, удерживали нас обоих дома, так что у нас даже не было соблазна выйти на улицу. Мы мастерили клетки, дудки, воланы, барабаны, дома, лодочки, самострелы. Мы портили инструменты моего доброго старого деда, стараясь сделать, по его примеру, часы. Особенно же мы любили мариать бумагу, рисовать, раскрашивать, расцвечивать, изводить краски. В Женеву приехал итальянский шарлатан по фамилии Гамба-Корта; раз мы пошли посмотреть на него и больше не захотели ходить. Но у него были марионетки, и мы принялись за изготовление марионеток; его марионетки разыгрывали нечто вроде комедий, и мы принялись сочинять комедии для наших. За неимением пищика мы подражали голосу Полишинеля горлом, разыгрывая эти прелестные комедии перед нашими несчастными добрыми родственниками, у которых хватало терпения смотреть их и слушать. Но после того как мой дядя Бернар прочитал в семейном кругу отличную проповедь своего сочинения, мы бросили комедии и принялись составлять проповеди. Сознаю, что все эти подробности не слишком интересны, но они показывают, насколько хорошо было наше первоначальное воспитание, если и в таком неж-

ном возрасте, предоставленные самим себе, мы никогда не пытались злоупотреблять своей свободой. Потребность в товарищах была у нас так мала, что мы пренебрегали представлявшимися случаями приобрести их. Гуляя, мы смотрели мимоходом на игры других мальчиков без зависти, даже не помышляя принять в них участие. Взаимная дружба так наполняла наши сердца, что нам было достаточно быть вместе, чтобы самые простые забавы становились для нас наслаждением.

Видя нас неразлучными, на нас обратили внимание, тем более что мой двоюродный брат Бернар был очень высокого роста, а я – очень маленького, так что получалась довольно смешная пара. Его длинная, тонкая фигура, маленькое, как печеное яблоко, лицо, хилый вид, небрежная походка давали детям повод для насмешек. На местном наречии ему дали прозвище «Барна Бреданна»<sup>{22}</sup>, и стоило нам выйти на улицу, мы только и слышали вокруг: «Барна Бреданна!» Он переносил это спокойней, чем я. Я сердился, лез в драку; а маленьким плутам только этого и надо было. Я бил и бывал битым. Мой бедный брат помогал мне как мог; но он был слаб: его сбивали с ног одним ударом кулака. Тогда я приходил в ярость. Однако, хотя мне и всыпали тумачков, предметом неприязни был не я, а «Барна Бреданна»; но я так ухудшил дело своим неукротимым бешенством, что вскоре мы решались выходить из дому только в часы занятий, боясь травли и преследования со стороны школьников.

Вот я уже защитник угнетенных. Чтобы стать рыцарем по всем правилам, мне недоставало только дамы, – у меня их оказалось две. Время от времени я отправлялся повидаться с отцом в Нион, маленький городок в кантоне Во, где он поселился. Моего отца очень любили, и это отражалось на сыне. Во время моего краткого пребывания у него меня угощали наперебой; некая г-жа де Вюльсон осыпала меня ласками, и в довершение всего дочь ее избрала меня своим кавалером. Понятно, что значит одиннадцатилетний кавалер для девушки двадцати двух лет. Все эти плутовки так любят выдвигать вперед маленьких кукол, чтобы прикрывать ими больших или заманивать последних игрою, которую они умеют сделать привлекательной! Что касается меня, то я не замечал никакого несоответствия между нею и мной и принял дело всерьез. Я предался всем сердцем – вернее, всей головою, так как был влюблен только головой, хоть и до безумия, – и мои восторги, волнения, неистовые вспышки гнева порождали сцены, от которых можно было умереть со смеху.

Мне известны два вида любви, очень определенных, очень реальных и не имеющих между собой почти ничего общего, хотя тот и другой пылки и оба не похожи на нежную дружбу. Вся моя жизнь разделилась между двумя этими видами любви, столь различными по природе, и порою я переживал их даже одновременно. Так, например, в тот период, о котором я говорю, увлекаясь мадемуазель де Вюльсон так открыто и деспотически, что не терпел, чтобы кто-либо из мужчин к ней приближался, я имел краткие, но довольно оживленные свидания с некоей маленькой мадемуазель Готон, во время которых она благосклонно брала на себя роль школьной учительницы, и это было все; но это «все» было действительно всем для меня и казалось мне высшим счастьем; и, уже понимая цену тайны, хотя и пользуясь ею как ребенок, я оплачивал ничего не подозревавшей мадемуазель де Вюльсон за то, что она так усердно пользовалась мною для прикрытия своих увлечений. Но, к моему великому огорчению, моя тайна была раскрыта, или, может быть, моя маленькая учительница не хранила ее так, как я, потому что нас не замедлили разлучить, и через некоторое время, после того как я вернулся в Женеву, я слышал, проходя через Кутанс, как девочки вполголоса кричали мне: «Готон тик-так Руссо».

Станным созданием, по правде говоря, была эта маленькая мадемуазель Готон. Она не была красива, но ее лицо трудно забыть, и я еще теперь вспоминаю его, даже слишком часто для старого безумца. В особенности глаза у нее были недетские, а также стан и манера держаться. У нее был милый, внушительный и гордый вид, очень подходящий для роли учительницы, что и вызвало у нас с ней первую мысль об этой игре. Но самым странным в ней

было сочетание смелости и сдержанности, которое трудно было понять. Она позволяла себе со мной самые большие вольности, никогда не допуская ничего подобного с моей стороны; она обращалась со мной буквально как с ребенком, и это заставляет меня думать, что она уже перестала быть им или, наоборот, еще оставалась им настолько, что видела лишь забаву в опасности, которой себя подвергала.

Я, если можно так выразиться, всецело принадлежал каждой из этих двух особ, и так безраздельно, что мне никогда не случалось в обществе одной из них думать о другой. Впрочем, не было ничего сходного в том чувстве, которое они вызывали во мне. Я провел бы всю жизнь с мадемуазель де Вюльсон, не помышляя ее покинуть, но, когда я приближался к ней, моя радость была спокойна, и я не ощущал волнения. Особенно любил я ее в большом обществе: шутки, поддразнивание, даже ревность привлекали, занимали меня; я гордился и торжествовал, видя, что она предпочитает меня взрослым соперникам, с которыми, казалось, обходится дурно. Меня мучили, но я любил это мучение. Похвала, одобрение, смех возбуждали и оживляли меня. Я горячился, острил; я пылал любовью на людях; с глазу на глаз я был бы натянут, холоден, быть может, скучал бы. Между тем я принимал в ней нежное участие; я страдал, когда она была больна; я отдал бы свое здоровье, чтобы она поправилась; и заметьте, что я по опыту прекрасно знал, что такое болезнь и что такое здоровье. Вдали от нее я думал о ней, мне доставало ее; но ее ласки были приятны сердцу, а не чувствам. Близкое общение с ней было для меня безопасно; мое воображение требовало лишь того, что она мне давала; однако я не вынес бы, если бы видел, что она обращается с другими так же. Я любил ее, как брат, но ревновал, как любовник.

Я ревновал бы и маленькую Готон, как турок, как бешеный, как тигр, если бы только мог представить себе, что с кем-нибудь другим она обращается, как со мной, – ведь это было милостью, о которой нужно просить на коленях. К мадемуазель де Вюльсон я подходил с живым удовольствием, но без смущения, меж тем как при появлении маленькой Готон я больше уже ничего не видел; все чувства мои приходили в смятение. Я был близок с первой без всяких вольностей, а перед второй я столько же трепетал, сколько возбуждался, даже при самых больших вольностях. Думаю, что, если бы я слишком долго оставался с ней, я не выжил бы: сердцебиение задушило бы меня. Обеим одинаково я боялся не угодить, но был услужливее с одной и покорней с другой. Ни за что на свете не хотел бы я рассердить мадемуазель де Вюльсон, но если бы маленькая Готон приказала мне броситься в огонь, думаю, что я тотчас же повиновался бы ей.

Моя любовь или, верней, мои встречи с маленькой Готон продолжались недолго, к счастью для нее и для меня. Мои отношения с мадемуазель де Вюльсон не были столь опасны, но и они кончились катастрофой, хотя продолжались дольше. Конец подобных отношений, наверно, всегда имеет несколько романтический вид и дает повод к пересудам. Хотя чувство мое к мадемуазель де Вюльсон было менее пылко, в нем, может быть, было больше привязанности. Мы никогда не расставались без слез, и трудно представить себе, в какую гнетущую пустоту ввергла меня разлука с ней. Я мог говорить и думать только о ней; мои сожаления были неподдельны и живы; но я подозреваю, что, в сущности, не все эти страстные сожаления относились к ней, и, хотя я сам не замечал этого, развлечения, центром которых она являлась, играли тут большую роль. Чтобы умерить горечь разлуки, мы писали друг другу письма, пафос которых был способен сокрушить скалы. Наконец, к моему величайшему торжеству, она не выдержала и приехала повидаться со мной в Женеву. Тут голова моя окончательно закружилась; я был точно пьян и безумствовал в течение двух дней, которые она провела здесь. Когда она уезжала, я хотел броситься вслед за ней в плывь по озеру и долго оглашал воздух своими криками. Через неделю она прислала мне конфет и перчатки, что показалось бы мне очень любезным, не узнай я в то же время, что она вышла замуж и что

путешествие, которым ей угодно было почтить меня, имело целью покупку подвенечного платья.

Я не стану описывать свое бешенство: оно понятно само собой. В своем благородном гневе я поклялся никогда не встречаться с коварной, так как не в состоянии был представить себе более ужасного для нее наказания. Но она от этого не умерла; двадцать лет спустя, приехав навестить отца и катаясь с ним по озеру, я спросил, кто эти дамы в лодке невдалеке от нас. «Как! – сказал мне отец, улыбаясь. – Разве сердце тебе ничего не подсказывает? Это твоя прежняя любовь: госпожа Кристен, мадемуазель де Вюльсон». Я вздрогнул, услышав это почти забытое имя, но попросил лодочников повернуть в сторону; хотя мне теперь и легко было отомстить, я не думал, чтобы стоило труда нарушать клятву и возобновлять ссору двадцатилетней давности с женщиной сорока лет.

Так тратилось на пустяки самое драгоценное время моего детства, прежде чем решена была моя участь. После долгого обсуждения моих природных склонностей остановились наконец на том, к чему я меньше всего был способен, и устроили меня к Массерону, городскому протоколисту, чтобы я научился под его руководством полезному ремеслу *судебного крючкомтвора*, как говорил г-н Бернар. Прозвище это очень не нравилось мне; надежда заработать кучу денег неблагородным путем мало льстила моему гордому нраву; занятие казалось мне скучным, невыносимым; кропотливость работы, подчинение окончательно меня от него отвратили, и я всегда входил в канцелярию с тайным ужасом, возраставшим день ото дня. Массерон, со своей стороны не слишком довольный мною, относился ко мне презрительно, непрерывно упрекал за вялость, глупость и повторял ежедневно, что дядя уверял его, *будто я знаю, будто я знаю*, а на деле я ровно ничего не знаю; что ему обещали славного мальчика, а дали просто осла. Наконец я был с позором изгнан из канцелярии за неспособность, и конторщики Массерона решили, что я гожусь только на то, чтобы орудовать напильником.

Когда, таким образом, мое призвание определилось, меня отдали в учение, – однако не к часовщику, а к граверу. Презрение протоколита очень меня удручало, и я безропотно повиновался. Мой хозяин Дюкоммен был молодой человек, грубый и резкий; и ему в очень короткий срок удалось омрачить мое радостное детство, огрубить мой ласковый, живой характер и низвести меня в умственном отношении, как я уже был низведен и в своем положении, до уровня настоящего подмастерья. Латинский язык, античный мир, история – все было забыто надолго; я даже не вспоминал о том, что на свете существовали римляне. Мой отец, когда я навещал его, более не находил во мне своего кумира; я перестал быть для дам любезным Жан-Жаком и сам так хорошо понимал, что г-н и мадемуазель Ламберсье не узнали бы во мне своего ученика, что мне стыдно было показаться им на глаза, и с тех пор я больше не видал их. Самые низкие наклонности, самое гнусное озорство заняли место милых забав, не оставив о них даже воспоминания. Видимо, несмотря на самое благопристойное воспитание, у меня была большая склонность к нравственному падению, так как оно совершилось очень быстро, без малейшего затруднения, и, верно, никогда такой скороспелый Цезарь не превращался так быстро в Ларидона<sup>{23}</sup>.

Ремесло само по себе нравилось мне: я очень любил рисовать, работа гравировальным резцом меня занимала; а так как в часовом деле от гравера не требуется слишком многого, я надеялся скоро достигнуть в этом искусстве совершенства. Быть может, я добился б этого, если бы грубость моего хозяина и чрезвычайное притеснение не отвратили меня от работы. Я крал у нее время для занятий того же рода, но имевших для меня прелесть свободы. Я гравировал нечто вроде медалей, которые должны были служить мне и моим товарищам рыцарскими орденами. Застав меня за этой контрабандной работой, хозяин исколотил меня, говоря, что я упражняюсь в ремесле фальшивомонетчика, так как на наших медалях был герб республики. Могу поклясться, что у меня не было ни малейшего представления о фаль-

шивых деньгах и очень слабое о настоящих. Я лучше знал, как делаются римские ассы<sup>{24}</sup>, чем наши монеты в три су.

Тирания хозяина в конце концов сделала работу, которую я мог бы полюбить, невыносимой и породила во мне пороки, которые могли бы стать для меня ненавистными: ложь, безделье, воровство. Ничто так ясно не показало мне разницу между сыновней зависимостью и рабским подчинением, как воспоминание о происшедших во мне за это время переменах. От природы робкий и застенчивый, я из всех недостатков всего более был далек от бесстыдства. Но ведь я наслаждался разумной свободой, которая с тех пор постепенно ограничивалась и наконец совсем исчезла. Я был смел у своего отца, свободен у г-на Ламберсье, скромн у своего дяди; я сделался запуганным у своего хозяина и стал потерянным ребенком. Привыкнув быть равным со старшими в образе жизни, не зная удовольствий, в которых мне нельзя было бы принять участия, не видеть кушаний, в которых не было бы и моей доли, не испытывать желаний, которых я не мог бы высказать, и, наконец, переносить все движенья сердца на уста, – во что я должен был превратиться в доме, где не смел раскрыть рот, где надо было вставать из-за обеденного стола после первого блюда, уходить из комнаты, как только мне там нечего было делать; где, постоянно прикованный к работе, я видел возможность удовольствия только для других, а для себя самого – одни лишения; где зрелище свободы хозяина и мастеров увеличивало тяжесть моей зависимости; где во время разговоров о том, что я знал лучше всего, я не смел и заикнуться; где, наконец, все, что я видел, становилось предметом алчных желаний моего сердца единственно потому, что я был всего лишен. Прощай, довольство, веселье, удачные словечки, которые, бывало, нередко избавляли меня от наказания! Не могу вспомнить без смеха, как дома меня однажды вечером за какую-то шалость отправили спать без ужина; проходя через кухню с одним жалким кусочком хлеба, я увидел вращающееся на вертеле жаркое и услышал его запах. Все мои близкие сидели вокруг очага; нужно было проститься с каждым. Когда я обошел всех, поглядывая одним глазом на жаркое, имевшее такой заманчивый вид и такой вкусный запах, я не мог удержаться, чтобы не попрощаться и с ним, и сказал ему жалобным тоном: «Прощай, жаркое!» Эта наивная выходка показалась всем такой забавной, что меня оставили ужинать. Может быть, она имела бы успех и у моего хозяина, но, уж конечно, здесь она не пришла бы мне в голову, а если бы и пришла, я не решился бы привести ее в исполнение.

Вот так привык я таить свои желания, скрываться, притворствоваться, лгать и, наконец, красть – склонность, раньше не свойственная мне, но от которой с тех пор я не мог полностью излечиться. Желание и невозможность его удовлетворить всегда ведут к этому. Вот почему все лакеи – воры, и все ремесленные ученики тоже вынуждены воровать; но последние, вырастая, оказавшись в положении равенства и спокойствия, при котором все, что они видят, доступно им, теряют эту постыдную склонность. Не достигнув подобного благополучия, я не мог извлечь из него и эту пользу.

Почти всегда именно хорошие, но плохо направленные чувства заставляют детей делать первый шаг к дурному. Несмотря на постоянные лишения и соблазны, я прожил у хозяина больше года, не решаясь что-нибудь взять хотя бы из съестного. Первое мое воровство было делом услужливости, но оно открыло дорогу другим кражам, не имевшим столь похвальной цели.

У моего хозяина был компаньон по имени Верра; дом его находился по соседству, при нем был довольно обширный сад, где разводили прекрасную спаржу. Г-н Верра нуждался в деньгах, и ему пришла в голову мысль украсть у своей матери молодую спаржу и продать ее, чтобы устроить несколько хороших завтраков. Будучи не слишком проворным и не желая подвергаться опасности, он выбрал для этого похода меня. После нескольких предварительных любезностей, подкупивших меня тем скорей, что я не знал их цели, он предложил мне совершить эту кражу, и с таким видом, будто мысль о ней пришла ему внезапно. Я долго

отказывался – он настаивал. Я никогда не мог противиться ласкам – я сдался. Я ходил каждое утро собирать самую лучшую спаржу и относил ее на Молар<sup>[25]</sup>, где какая-нибудь тетенька, хорошо понимая, что спаржу я только что украл, говорила мне это, чтобы купить ее подешевле. В страхе я брал то, что ей угодно было дать мне, и относил деньги г-ну Верра. Они быстро превращались в завтрак, который я же и добывал и который он разделял с одним из своих товарищей; что же касается меня, то, довольный какими-нибудь обедками, я не притрагивался даже к их вину.

Проделки эти продолжались несколько дней, и ни разу мне не пришло в голову обокрасть вора – взыскать десятину с доходов г-на Верра от спаржи. Я был необыкновенно честным жуликом; единственным моим побуждением было услужить тому, кто заставлял меня это делать. Между тем, если б меня поймали, сколько побоев, сколько оскорблений, какое жестокое обращение пришлось бы мне перенести; тогда как негодяю, отрекись он от меня, поверили бы на слово, и я был бы наказан вдвойне за то, что осмелился его обвинять, ибо он был компаньоном, а я только учеником. Вот как во всех состояниях за сильного всегда отвечает бессильный.

Так я узнал, что воровать совсем не столь ужасно, как мне казалось, и вскоре так хорошо воспользовался этим знанием, что все, чего бы я ни пожелал, будучи мне доступным, не было в безопасности. У моего хозяина кормили не так уж плохо, и умеренность была мне тяжела только потому, что я видел, как она плохо соблюдалась другими. Обычай заставлять детей вставать из-за стола, когда подают самые соблазнительные для них блюда, кажется мне лучшим способом делать из них лакомок и воришек. Вскоре я стал тем и другим; и обычно я чувствовал себя при этом прекрасно, – плохо было лишь тогда, когда меня накрывали.

Воспоминание, до сих пор заставляющее меня и дрожать, и смеяться, – это охота за яблоками, дорого мне обошедшаяся. Яблоки находились в углу кладовой, в которую свет проникал из кухни через решетчатое окно, прорезанное высоко в стене. Однажды, оставшись один дома, я залез на ларь, чтобы заглянуть в сад Гесперид<sup>[26]</sup> и полюбоваться на драгоценные плоды, к которым не мог приблизиться. Я пошел за вертелом, чтобы попробовать, не достанет ли он до яблок; он оказался слишком коротким. Я удлинил его при помощи другого, маленького вертела, употреблявшегося для мелкой дичи, так как мой хозяин любил охоту. Несколько раз я безуспешно просовывал вертел и наконец с восторгом почувствовал, что тащу яблоко. Я тянул очень осторожно: яблоко уже коснулось окна; я готов был схватить его. Кто опишет мое горе! Яблоко было слишком велико и не проходило в отверстие. Сколько изобретательности пустил я в ход, чтобы протащить его! Надо было найти подпорку, чтобы удержать вертел в нужном положении, нож, достаточно длинный, чтобы разрезать яблоко, дранку, чтобы помешать ему упасть. Затратив немало ловкости и времени, я все-таки разрезал яблоко, надеясь, что вытяну один кусок за другим; но как только яблоко распалось на половинки, обе они упали в кладовую. Сострадательный читатель, посочувствуйте моей скорби.

Я не пал духом, но потерял много времени. Боясь, что меня накроют, я решил отложить свою затею до завтра, надеясь, что мне больше посчастливится, и, вернувшись в мастерскую, принялся за работу так спокойно, будто ничего не сделал, не помышляя о двух нескромных, обличавших меня свидетелях в кладовой.

На другой день, улучив удобный момент, я делаю новую попытку. Лезу на свои подмости, удлиняю вертел, нацеливаюсь, вот уже готов наколоть яблоко... К несчастью, дракон не дремал. Дверь кладовой открывается – мой хозяин выходит оттуда, скрещивает на груди руки, смотрит на меня и говорит: «Смелей!..» Перо выпадает у меня из рук...

Вскоре, привыкнув к плохому обращению, я сделался менее чувствителен к нему, и оно стало казаться мне в конце концов чем-то вроде естественного возмездия за воровство, – возмездия, дававшего мне право продолжать свои проделки. Вместо того чтобы оглянуться

назад и вспомнить о наказании, я глядел вперед и видел мщение. Я считал, что, раз меня бьют, как воришку, это дает мне право воровать. Я находил, что воровство и побои связаны друг с другом, составляют в некотором роде одно целое, и что, исполняя ту часть, которая зависит от меня, я могу предоставить другую заботам хозяина. Усвоив эту идею, я стал воровать спокойнее, чем раньше. Я говорил себе: «Что же случится в конце концов? Меня побьют. Пускай: я для этого и создан».

Я люблю поесть, но не жаден; падок на все вкусное, но не лакомка. Слишком много других склонностей отвлекают меня от этого. Я уделял внимание своему желудку, только когда сердце мое было свободно; но это случалось в моей жизни так редко, что у меня не было времени мечтать о лакомых кусочках. Вот почему я недолго ограничивался воровством съедобного и вскоре стал брать все, что меня соблазняло; и если я не сделался настоящим вором, то лишь потому, что деньги меня никогда особенно не прельщали. В мастерской у моего хозяина было особое отделение, запиравшееся на ключ; я нашел способ открывать дверь и закрывать ее так, что это было незаметно. Там я брал прекрасные инструменты хозяина, его лучшие рисунки, его оттиски, все, что вызывало во мне зависть и что он так старательно прятал от меня. В сущности, эти кражи были очень невинны, так как все, что я таскал у хозяина, употреблялось мною для работы на него же; но я был в восторге, имея эти пустяки в своем распоряжении; мне казалось, что я краду его талант вместе с его произведениями. Впрочем, там был золотой и серебряный лом, мелкие драгоценности, ценные вещи, деньги. Я считал себя богачом, когда у меня в кармане было четыре-пять су; тем не менее я не только был очень далек от желания притронуться к какому-нибудь из этих предметов, но даже не помню, чтобы бросил на них алчный взгляд. Я смотрел на это скорей с ужасом, чем с удовольствием. Думаю, что отвращение к краже денег и всего, что их приносит, было заложено во мне воспитанием. Сюда примешивалось смутное опасение бесчестья, тюрьмы, наказания, виселицы, которое заставило бы меня содрогнуться, поддайся я искушению, тогда как мои проделки казались мне только шалостями и действительно не были ничем иным. Все это могло кончиться лишь порядочной трепкой со стороны хозяина, и я уже заранее был готов к ней.

Но, повторяю еще раз, мое возжелание не шло настолько далеко, чтобы была необходимость его превозмогать; мне нечего было подавлять в себе. Листок хорошей бумаги для рисования больше соблазнял меня, чем деньги, на которые можно купить целую стопу. Эта странность проистекала из одной особенности моего характера, имевшей такое сильное влияние на мое поведение, что необходимо ее объяснить.

У меня очень пылкие страсти, и если они волнуют меня, ничто не может сравниться с моей горячностью: тогда для меня не существует ни осторожности, ни уважения, ни страха, ни приличия; я становлюсь циничным, наглым, неистовым, неустрашимым; стыд не останавливает меня, опасность не пугает; кроме предмета, который меня увлекает, весь мир для меня ничто. Но все это длится только мгновенье, и вслед за тем я впадаю в оцепенение. Застаньте меня в спокойном состоянии, я – воплощенная вялость, даже робость; все меня тревожит, все отталкивает; пролетающая муха пугает меня; сказать слово, сделать движение – мысль об этом приводит в ужас мою лень; боязнь и стыд до того поработают меня, что я хотел бы исчезнуть с глаз людских. Если надо действовать, я не знаю, что делать; если надо говорить, не знаю, что сказать; если на меня смотрят, я смущаюсь. Когда я охвачен страстью, я иной раз нахожу, что сказать, но в обычных разговорах не нахожу ничего, совершенно ничего; они несносны для меня уже тем, что я обязан говорить.

Прибавьте к этому, что ни одна из моих преобладающих склонностей не обращена на то, что можно купить. Мне нужны только чистые наслаждения, а деньги отравляют все. Я люблю, например, хороший стол, но, не вынося ни чопорности избранного общества, ни кабацкого беспутства, я могу предаваться этому удовольствию лишь с приятелем, ибо, когда



я один, мое воображение занято другими предметами и я уже не ощущаю никакого удовольствия от еды. Порою моя разгоревшаяся кровь требует женщин, но взволнованное сердце еще больше требует любви. Женщины, купленные за деньги, потеряли бы для меня всякое очарование; сомневаюсь даже, чтоб я мог пользоваться ими. И так бывает со всеми доступными мне удовольствиями: раз они не достались мне даром, я нахожу их бессмысленными. Я люблю лишь те блага, которые принадлежат только первому, умеющему их вкусить.

Никогда деньги не казались мне таким драгоценным предметом, каким их считают. Больше того, они никогда не казались мне большим удобством: сами по себе они ни на что не годны, их надо сначала превратить во что-нибудь, чтобы извлечь из них удовольствие; надо покупать, торговаться, нередко быть обманутым, дорого заплатить и получить плохой товар. Я хочу получить нечто, хорошее по своему качеству, и уверен, что за деньги получу плохое. Я плачу дорого за свежее яйцо, а оно лежалое; за зрелый плод – он зелен; за девушку – она порочна. Я люблю хорошее вино, но где его достать? У виноторговца? Как бы я ни изощрялся, он может отравить меня. Я хочу во что бы то ни стало достать хорошего вина. Сколько забот, сколько затруднений! Надо иметь друзей, корреспондентов, давать поручения, писать, ездить, возвращаться, ждать и нередко под конец быть опять обманутым. Сколько хлопот с деньгами! Я боюсь их больше, чем люблю хорошее вино.

Тысячу раз во время моего ученичества и позже я выходил из дому с намерением купить себе какое-нибудь лакомство. Приближаюсь к лавке пирожника, вижу женщин за прилавком; мне уже кажется, что они пересмеиваются и издеваются над маленьким лакомкой. Прохожу мимо торговки фруктами, искоса поглядывая на прекрасные груши, – их аромат соблазняет меня, но какие-то молодые люди поблизости глядят на меня; торговец, который знает меня, стоит перед своей лавкой; вижу вдалеке девушку, не наша ли это служанка? Мои близорукие глаза вводят меня в тысячи заблуждений. Я принимаю всех проходящих за своих знакомых; все меня смущает, всюду передо мной встает какое-нибудь препятствие; желание мое растет, но растет и стыд, и я возвращаюсь наконец как дурак, снедаемый желанием, имея в кармане деньги, для того чтобы удовлетворить его, и не осмелившись ничего купить.

Мне пришлось бы войти в самые скучные подробности, если б я захотел рассказать об употреблении, которое делали из моих денег я сам или другие, о затруднениях, стыде, отвращении, неудобствах, всякого рода неприятностях, которые я всегда при этом испытывал. По мере того как читатель, углубляясь в мою жизнь, будет знакомиться с моим характером, он сам все это почувствует и без моих объяснений.

Поняв это, он без труда поймет и одно из моих мнимых противоречий: соединение почти скарредной скупости с величайшим презрением к деньгам. Деньги для меня – имущество настолько неудобное, что мне даже в голову никогда не приходит желать их, раз их у меня нет, но когда они у меня имеются, я долго берегу их, не тратя, так как не знаю, на что их употребить; но только подвернется удобный и приятный случай, я так хорошо пользуюсь ими, что кошелек мой опустеет, прежде чем я это замечу. Впрочем, не ищите у меня мании скупых: тратить деньги напоказ. Как раз наоборот, я трачу их тайно и для собственного удовольствия; далекий от того, чтобы кичиться своими тратами, я скрываю их. Я так хорошо понимаю, что деньги созданы не для меня, что почти стыжусь иметь их, а тем более пользоваться ими. Если б у меня когда-нибудь был определенный и достаточный для жизни доход, мне не грозила бы опасность стать скупцом, твердо уверен в этом; я тратил бы весь свой доход, не стараясь его увеличить; но необеспеченность держит меня в страхе. Я обожаю свободу, ненавижу стеснение, нужду, подчинение. Пока есть деньги в моем кошельке, они обеспечивают мне независимость, избавляют меня от необходимости изощряться, чтобы добыть их вновь, а необходимость эта всегда приводила меня в ужас; я берегу их из боязни, что они придут к концу. Деньги, которыми обладаешь, – орудие свободы; деньги, за кото-

рыми гонишься, – орудие рабства. Вот почему я хорошо прячу их и никогда не стремлюсь приобрести.

Мое бескорыстие, следовательно, не что иное, как леность: удовольствие иметь не стоит труда приобретения; и моя расточительность опять-таки не что иное, как леность: когда представляется случай приятно истратить, трудно не воспользоваться им как можно лучше. Меня меньше прельщают деньги, чем вещи, потому что между деньгами и желанием обладать вещью всегда есть посредствующее звено, тогда как вещью можно наслаждаться непосредственно. Я вижу вещь, она соблазняет меня; если я вижу только средство ее приобрести, она перестает меня соблазнять. Итак, я был воришкой, иногда бываю им и теперь, таская соблазняющие меня мелочи, которые я предпочитаю взять без спросу. Но ни в детстве, ни в зрелом возрасте я не помню, чтобы когда-нибудь украл у кого-либо хотя бы ливр, за одним исключением, когда без малого пятнадцать лет тому назад украл семь ливров и десять су.

Случай заслуживает того, чтобы рассказать о нем, так как представляет собой такое изумительное сочетание наглости и глупости, что мне самому было бы трудно поверить, если бы речь шла о ком-нибудь другом, а не обо мне.

Это было в Париже. Я прогуливался с г-ном Франкеем<sup>{27}</sup> в Пале-Рояле<sup>{28}</sup> около пяти часов дня. Он вынимает часы, смотрит и говорит мне: «Пойдем в Оперу». Я соглашаюсь, мы отправляемся. Он берет два билета в амфитеатр, один из них дает мне и первый проходит к своему месту; я следую за ним. Входя, я замечаю, что в дверях толпится народ. Осматриваюсь и вижу, что все стоят; я решаю, что легко мог бы затеряться в этой толпе или по крайней мере заставить г-на Франкея подумать это. Выхожу, беру свою контрамарку и, получив за нее деньги, ухожу, не помышляя о том, что, не успею я дойти до двери, все уже будет сидеть и г-н Франкей отлично увидит, что меня нет.

Ничто так не противоречит моему характеру, как это происшествие, и я отмечаю его, чтобы показать, что бывают минуты какого-то бреда, когда не следует судить о человеке по его поступку. Собственно говоря, тут были украдены не деньги, а их употребление. Здесь было не столько воровство, сколько подлость.

Я не покончил бы с этими подробностями, если б захотел проследить все пути, по которым в годы своего ученичества спускался с высоты героизма к низости негодяя. Тем не менее, усваивая пороки своей среды, я был не в состоянии до конца примириться с ней. Мне были скучны развлечения товарищей, а когда чрезмерные притеснения отвратили меня и от работы, мне наскучило все. Ко мне вернулась склонность к чтению, давно уже мною утраченная. Чтение, которому я предавался в ущерб работе, стало новым преступлением и навлекло на меня новые наказания. Склонность эта, раздраженная противодействием, превратилась в страсть, а вскоре в исступление. Известная Латрибю, дававшая книги напрокат, снабжала меня ими, и самыми разнообразными. Хорошие и плохие – все шли в дело; я совершенно не выбирал: я читал все с одинаковой жадностью. Читал за рабочим столом, читал на ходу, когда меня посылали с поручением, читал в уборной, в самозабвении проводя там целые часы; голова моя шла кругом от чтения; я только и делал, что читал. Хозяин подкарауливал меня, настигал, бил, отнимал книги. Сколько их было разорвано, сожжено, выброшено за окно! Сколько сочинений осталось у Латрибю разрозненными! Когда мне нечем было платить, я отдавал ей в залог свои рубашки, галстуки, старое платье; три су, которые я получал по воскресеньям, регулярно относились к ней.

Вот, скажут мне, пригодились и деньги. Правда, но это произошло, когда чтение отбило у меня охоту ко всякой деятельности. Всецело предавшись своей новой страсти, я только и делал, что читал, и уже не воровал больше. Вот еще одна из моих характерных особенностей. В самый разгар какого-нибудь увлечения безделица отвлекает меня, изменяет мои привычки, привязывает, наконец возбуждает во мне страсть; и тогда уже все забыто, я думаю

только о новом предмете, занимающем меня. Сердце мое билось – так хотелось мне поскорее перелистать новую книгу, лежавшую у меня в кармане; я вынимал ее, как только оставался один, и уже вовсе не стремился рыться в каморке хозяина. Мне даже трудно представить себе, чтобы я стал воровать и в том случае, если б у меня появились страсти, требующие более крупных издержек. Живя только настоящим, я по самому складу своей натуры не мог бы прибегнуть к этому способу для устройства своих дел в будущем. Латрибю оказывала мне кредит; задатки были маленькие; и когда книга была у меня в кармане, я больше ни о чем не думал. Деньги, которые я получал обычным путем, тоже переходили в руки этой женщины; а когда она становилась настойчивой, у меня всегда под рукой были мои собственные пожитки. Воровать на всякий случай – для этого надо быть слишком предусмотрительным, а воровать ради уплаты долга даже не представлялось соблазном.

От брани, побоев, чтения украдкой и без разбора я сделался молчаливым и угрюмым; рассудок мой начал мутиться, и я стал жить, как настоящий бирюк. Однако если пристрастие к чтению не уберегло меня от пошлых и безвкусных книг, то счастье уберегло от книг грязных и непристойных. Не то чтобы Латрибю – женщина во всех отношениях очень покладистая – совестилась снабжать меня ими, но для того, чтобы придать им большую цену, она называла их мне с таким таинственным видом, что именно поэтому я отказывался от них, – столько же из отвращения, сколько от стыда. И случай так благоприятствовал моему стыдливому характеру, что до тридцатилетнего возраста я ни разу не заглянул ни в одну из тех опасных книг, в которых прекрасная светская дама видит лишь то неудобство, что их можно читать только тайком.

Менее чем в год я исчерпал скудную лавку Латрибю и тогда почувствовал весь ужас ничем не заполненного досуга. Я излечился от наклонностей, свойственных шалуну-ребенку, благодаря пристрастию к чтению и даже благодаря самому чтению, которое, хотя и шло без выбора и было часто плохим, все же пробудило в моем сердце чувства более благородные, чем те, что порождало в нем мое зависимое положение; но я смотрел с отвращением на все, что было мне доступно, чувствовал слишком недоступным все, что меня привлекало, и не видел ничего, что могло бы усладить мое сердце. Мои взволнованные чувства уже давно требовали удовлетворения, о котором я не имел даже понятия, и я был так далек от этого, как будто у меня не было пола; уже возмужалый и чувственный, я думал иногда о своих безумствах, но дальше их не видел ничего. В этих странных обстоятельствах мое беспокойное воображение избрало путь, который спас меня от самого себя и успокоил зарождающуюся чувственность. Он заключался в том, чтобы переноситься в положения, которые заинтересовали меня в книгах, вспоминать, изменять прочитанное, приноравливать его к самому себе, превращаться в одно из действующих лиц, видеть себя в положениях, наиболее отвечающих моим вкусам, и тогда воображаемое состояние, в которое я наконец приходил, заставляло меня забывать о действительности, которой я был так недоволен. Любовь к воображаемым предметам и легкость, с которой я заполнял ими свой внутренний мир, окончательно отвратили меня от всего окружающего и определили мою склонность к одиночеству, оставшуюся у меня с этих пор навсегда. В дальнейшем не раз обнаружатся странные результаты этого умонастроения: с виду столь мизантропическое и мрачное, оно в действительности происходит от слишком благожелательного, слишком любящего, слишком нежного сердца, которое, за отсутствием существ, похожих на него, вынуждено питаться воображением. Пока достаточно отметить источник и первую причину той склонности, что изменила все мои страсти, сдерживала их при помощи их самих и вместе с тем всегда делала меня ленивым в осуществлении своих желаний именно потому, что они были слишком пламенны.

Так достиг я шестнадцати лет, беспокойный, недовольный всем и собой, без расположения к своему ремеслу, без развлечений, свойственных юности, снедаемый смутными желаниями, плача без причины, вздыхая неведомо отчего и нежно лелея свои химеры, ибо

вокруг я не видел ничего равноценного им. По воскресеньям, после проповеди, товарищи приходили за мной и звали порезвиться с ними. Я с удовольствием скрылся бы от них, если б мог, но, вовлеченный в игру, играл с большей горячностью и заходил дальше всякого другого, так что меня трудно было утихомирить и сдержать. Таков был мой характер всегда. Во время прогулок за город я постоянно шел впереди всех и не думал о возвращении, если только другие не думали об этом за меня. Из-за этого я два раза попался: городские ворота оказались запертыми, прежде чем я успел вернуться. Можно себе представить, как досталось мне на другой день; а во второй раз мне был обещан такой прием, если я опоздаю и в третий, что я решил больше не рисковать. Но этот третий раз, которого я так боялся, все-таки наступил. Моя бдительность была обманута одним проклятым капитаном по фамилии Минутולי, который, когда бывал в карауле, закрывал ворота всегда на полчаса раньше других. Я возвращался с двумя товарищами. В полумиле от города слышу вечернюю зорю; ускоряю шаг; слышу, как бьют в барабан; пускаюсь бежать со всех ног; прибегаю запыхавшись, весь в поту; мое сердце колотится; издали вижу часовых, – я бегу, кричу сдавленным голосом. Но слишком поздно. Мне оставалось еще сделать двадцать шагов, как подняли первый мост. Я содрогнулся, увидев в воздухе его ужасные рога – мрачное и роковое знамение неотвратимой судьбы, которую открывало передо мной это мгновенье.

В первом порыве горя я бросился на откос, кусая землю. Мои товарищи, смеясь над своим несчастьем, тотчас же приняли решение. Я тоже принял свое, но оно было иным. Тут же на месте я поклялся никогда больше не возвращаться к хозяину; и когда на следующий день, в час открытия ворот, мои товарищи вернулись в город, я простился с ними навсегда, прося их только предупредить потихоньку моего двоюродного брата Бернара о принятом мною решении и о месте, где он мог бы еще раз повидаться со мной.

С тех пор как я поступил в учение, я, живя отдельно от Бернара, виделся с ним реже; в течение некоторого времени мы с ним встречались по воскресеньям; но постепенно у каждого из нас появились свои интересы, и мы почти перестали встречаться. Я убежден, что его мать много содействовала этому. Он был мальчиком из «верхнего квартала», а я – жалкий подмастерье и всего-навсего мальчишка из Сен-Жерве<sup>{29}</sup>. Мы не были равны, несмотря на родство; часто видеться со мной значило ронять себя. Однако связь между нами прекратилась не совсем; по природе он был добрый малый и, вопреки наставлениям матери, следовал иногда своему сердцу. Узнав о моем решении, он прибежал не для того, чтобы разубедить меня или разделить мою участь, а чтобы облегчить положение беглеца небольшими подарками, так как с моими собственными средствами я не мог бы уйти далеко. Он подарил мне, между прочим, маленькую шпагу; она мне страшно понравилась, и я не снимал ее до самого Турина, где только необходимость заставила меня с ней расстаться и где я, как говорится, оплакал ее горькими слезами. Чем больше я размышляю о его поведении в ту решительную минуту, тем более убеждаюсь, что он следовал наставлениям своей матери, а быть может, и отца, так как совершенно невозможно, чтобы, действуя по собственному почину, он не сделал никаких попыток удержать меня или не соблазнился мыслью последовать за мной; но этого не было. Он скорей поддерживал меня в моем намерении уйти, чем отговаривал от него; потом, увидев, что я окончательно решился, покинул меня без лишних слез. Мы никогда не писали друг другу и не виделись. Это жаль: он был добр по природе; мы были созданы, чтобы любить друг друга.

Прежде чем предоставить меня моей злополучной судьбе, пусть разрешат мне бросить взгляд на ту участь, которая, естественно, ожидала бы меня, попади я в руки лучшему хозяину. Ничто так не подходило к моему характеру и не могло сделать меня более счастливым, чем спокойное и скромное положение хорошего ремесленника, особенно такого, как, например, гравер в Женеве. Это занятие, достаточно прибыльное, чтобы дать безбедное существование, но не настолько доходное, чтобы привести к богатству, ограничило бы мое честолю-

бие до конца жизни и, давая мне заслуженный досуг для удовлетворения моих скромных потребностей, удержало бы меня в моей среде, не давая никакой возможности ее покинуть. Обладая воображением, достаточно богатым, чтобы украсить мечтами любое состояние, достаточно могущественным для того, чтобы переносить меня, так сказать, из одного состояния в другое, – я не придавал бы значения тому, в каком нахожусь на самом деле.

Между местом, в котором я находился бы, и любимым воздушным замком для меня не могло быть непреодолимого расстояния. Из одного этого следовало, что самое скромное положение, связанное с наименьшими беспокойствами и заботами, всего более оставлявшее ум свободным, подходило мне больше всего, но как раз таким и было бы мое положение. В лоне своей религии, своей родины, своей семьи и друзей провел бы я жизнь мирную и тихую, вполне отвечающую моему характеру, сочетающую в себе труд по вкусу и общество по сердцу. Я был бы хорошим христианином, хорошим гражданином, хорошим отцом семейства, хорошим другом, хорошим ремесленником, во всех отношениях хорошим человеком. Я любил бы свое ремесло, быть может, прославил бы его и, прожив жизнь незаметную и простую, но ровную и тихую, спокойно умер бы на руках у своих близких. Скоро забытый, конечно, я был бы по крайней мере оплакиваем то время, пока меня помнили бы.

Вместо этого... какую картину я нарисую! Ах! не будем предвосхищать несчастий моей жизни; и без того слишком много буду я занимать читателей этой грустной темой.

## Книга вторая (1728)

Насколько печальной казалась мне минута, когда ужас внушил мне мысль о бегстве, настолько же очаровательной показалась мне та, когда я привел свою мысль в исполнение. Еще ребенком покинуть родину, близких, лишиться опоры, поддержки, бросить ученье на полдороге, не зная ремесла настолько, чтобы существовать при помощи него, обречь себя всем ужасам нищеты, не видя никакого средства выйти из нее; в возрасте слабом и невинном подвергнуться всем искушениям порока и отчаяния, идти вдаль навстречу страданиям, заблуждениям, козням, рабству и смерти, подпасть под иго, гораздо более тяжкое, чем то, которого я не смог вынести, – вот на что я решился, вот будущность, в лицо которой я должен был бы глядеть. Как не похожа она была на ту, что я рисовал себе! Чувство независимости, казалось, мной достигнутой, было единственным, которое овладело мной. Свободный и сам себе господин, я воображал, что могу все сделать, всего добиться: стоит мне только броситься вперед, и я взлечу и буду парить в воздухе. Уверенно вступал я в широкий мир; я полагал, что мои достоинства наполнят его; на каждом шагу я буду встречать пиры, сокровища, приключения, друзей, готовых мне служить, любовниц, озабоченных тем, чтобы нравиться мне; стоит мне появиться, и вся вселенная займется мною; правда, не вся целиком: от этого я некоторым образом ее избавлял – столько мне не было нужно. С меня было довольно милого сердцу общества, – до остального мне не было дела. Моя умеренность рисовала мне тесный, но восхитительно подобранный круг, где, как я был уверен, мне предстояло царствовать. Честолюбие мое довольствовалось одним только замком; любимец сеньора и его супруги, возлюбленный дочери, друг ее брата и покровитель соседей – я был доволен; большего я не требовал.

В ожидании этого скромного будущего я бродил несколько дней по окрестностям города, ночуя у знакомых крестьян, встречавших меня радушнее, чем это сделали бы городские жители. Они принимали меня, давали мне кров, кормили и были слишком простодушны, чтобы видеть в этом заслугу. Нельзя было назвать это милостыней: они не выказывали при этом достаточного чувства превосходства.

Путешествуя и скитаясь по свету, я дошел до Конфиньона в Савойе<sup>{30}</sup>, находящегося в двух лье от Женевы. Местного кюре звали де Понвером. Это имя, знаменитое в истории Швейцарской республики, поразило меня. Мне любопытно было поглядеть, что представляют собой потомки дворян Ложки<sup>{31}</sup>. Я пошел к де Понверу; он принял меня хорошо, говорил со мной о женевской ереси, об авторитете святой матери-церкви и угостил меня обедом. Я не мог ничего возразить против рассуждений, кончившихся таким образом, и решил, что кюре, у которых можно так плотно пообедать, во всяком случае стоят наших пасторов. Конечно, я был учение де Понвера, несмотря на все его дворянство; но я был слишком добрым сотрапезником, чтобы быть неуступчивым богословом, а вино из Франжи<sup>{32}</sup>, показавшееся мне превосходным, так победоносно аргументировало в пользу кюре, что я покраснел бы от стыда, если б мне довелось заткнуть рот столь гостеприимному хозяину. Итак, я уступал или по крайней мере не возражал прямо. При виде моих уловок меня сочли бы двоедушным. Но это было бы ошибкой: я был только любезен, об этом не может быть спору. Лесть или, скорей, уступчивость, – не всегда порок, – чаще она – добродетель, особенно в молодых людях. Доброта, с которой человек относится к нам, привлекает нас к нему; ему уступают не для того, чтоб обмануть, а чтобы не огорчить, не отплатить злом за добро. Какую выгоду преследовал де Понвер, принимая меня, угощая и стремясь убедить? Никакой, кроме моей собственной. Мое юное сердце подсказывало мне это. Я был полон признательности и ува-

жения к доброму священнику. Я чувствовал свое превосходство, но не хотел показывать его в оплату за гостеприимство. В этом не было никаких лицемерных побуждений; я совсем не собирался менять религию и, очень далекий от того, чтобы быстро свыкнуться с мыслью об этом, я смотрел на нее с ужасом, который должен был надолго удалить ее от меня; мне только не хотелось огорчать тех, кто меня ласкал с этой целью; я хотел поддерживать в них хорошее расположение ко мне и подавать им надежду на успех, прикидываясь менее вооруженным, чем был на самом деле. Моя вина в этом случае очень походила на кокетство честных женщин, которые иногда, чтобы добиться своих целей, умеют, ничего не позволяя и ничего не обещая, возбуждать большие надежды, чем намерены оправдать.

Разум, сострадание, любовь к порядку, конечно, требовали, чтобы, отнюдь не потакая моему безумству, меня удержали от грозившей мне гибели, возвратив меня в семью. Вот что сделал или постарался бы сделать всякий действительно добродетельный человек. Но хотя де Понвер был человек хороший, он, конечно, не был человеком добродетельным; напротив, будучи набожным, он не знал иной добродетели, как поклонение иконам и чтение молитв, — это был особого рода миссионер, который не мог представить себе ничего лучшего для дела веры, как писать пасквили на женевских пасторов. Далекий от мысли отправить меня к отцу, он воспользовался моим желанием быть подальше от Женевы, чтобы поставить меня в такое положение, при котором я уже не мог бы туда вернуться, если б даже и захотел. Можно было побиться об заклад, что при этом я должен был либо погибнуть от нищеты, либо превратиться в негодяя. Но об этом он совсем не беспокоился: он мечтал спасти мою душу от ереси и вернуть ее в лоно церкви. Честный я человек или бездельник, какое ему было до этого дело, раз я хожу к обедне! Впрочем, не надо думать, что такой образ мыслей присущ только католикам: он свойствен всем догматическим религиям, где главное значение придается не делам, а вере.

«Бог призывает вас, — сказал мне де Понвер, — идите в Аннеси,<sup>1331</sup> там вы найдете добрую, милосердную даму, которой благодеяния короля дают возможность отвращать другие души от заблуждения, уже отвергнутого ею самой». Речь шла о г-же де Варане, новообращенной, которую священники принуждали делиться со всяким торгующим своей верой сбродом пенсией в две тысячи франков, назначенной ей сардинским королем. Я чувствовал себя униженным тем, что нуждался в доброй и милосердной даме. Я хотел, чтобы мне предоставляли все необходимое, но не из милосердия. Тем не менее, побуждаемый де Понвером, голодом, следовавшим за мной по пятам, а также приятной перспективой совершить путешествие, имея при этом определенную цель, я принимаю решение, хотя и с трудом, и отправляюсь в Аннеси. Я мог бы свободно прийти туда за один день, но я не спешил и потратил на это три дня. Как только я замечал справа или слева замок, я тотчас же направлялся туда в поисках приключения, которое, как я был уверен, меня там ожидало. Я не смел войти или постучаться, потому что был очень робок, но я пел под окном, самым лучшим на вид, и, порядком охрипнув, очень удивлялся, не заметив ни дам, ни девиц, которых привлекла бы красота моего голоса или прелесть моих песен; а я ведь знал прекрасные песни, которым выучился у товарищей, и восхитительно пел их.

Наконец я прихожу — вижу г-жу де Варане. Эта эпоха моей жизни определила мой характер, и я не решусь обойти ее молчанием. Мне шел шестнадцатый год. Я не был, что называется, красивым малым и не отличался высоким ростом, но был хорошо сложен, у меня были красивые, стройные ноги, непринужденный вид, выразительное лицо, маленький рот, черные брови и волосы; глаза, небольшие и даже впалые, горели огнем, пламеневшим в моей крови. К сожалению, ничего этого я не знал, и за всю мою жизнь мне случилось подумать о своей наружности лишь тогда, когда было уже поздно рассчитывать на нее. Застенчивость, свойственная моему возрасту, усугублялась робостью любящей природы, которую постоянно волновала боязнь не понравиться. К тому же, хотя мой ум был довольно развит, я никогда не

бывал в обществе, не имел хороших манер, а мои познания, нисколько не заменяя их, только смущали меня, заставляя сильнее чувствовать отсутствие воспитания.

Итак, опасаясь, что мой вид не говорит в мою пользу, я решил показать свои достоинства иначе и составил прекрасное письмо в ораторском стиле, где, мешая книжные фразы с выражениями подмастерья, излил все свое красноречие, чтобы привлечь расположение г-жи де Варане. Я вложил письмо г-на де Понвера в свое и отправился на эту страшную аудиенцию. Я не застал г-жи де Варане; мне сказали, что она только что пошла в церковь. Было вербное воскресенье 1729 года. Я бегу за ней; вижу ее, догоняю, обращаюсь к ней... Как не помнить мне это место! С тех пор я часто орошал его слезами и покрывал поцелуями! Отчего не могу я окружить это счастливое место золотой балюстрадой! Отчего не могу привлечь к нему поклонение всей земли! Всякий, кто привык чтить памятники человеческого спасения, должен был бы приближаться к нему не иначе как на коленях.

То был проход позади ее дома, между ручьем по правую руку, отделявшим его от сада, и стеной, ограждавшей двор по левую, – проход, который вел через потайную дверь в церковь кордельеров. Собираясь войти в эту церковь, г-жа де Варане оборачивается на мой голос. Что случилось тогда со мной! Я представлял себе хмурую, набожную старуху: добрая дама, о которой толковал де Понвер, на мой взгляд, не могла быть никем иным. Я вижу исполненное прелести лицо, прекрасные, полные нежности голубые глаза, ослепительный цвет кожи, очертания обольстительной груди. Ничто не ускользнуло от быстрого взгляда молодого прозелита, так как я тотчас же обратился в ее веру, убежденный, что религия, проповедуемая подобными миссионерами, может вести только в рай. Улыбаясь, она берет письмо, которое я подаю ей дрожащей рукой, распечатывает его, бросает беглый взгляд на письмо де Понвера, возвращается к моему, прочитывает его все до конца и хочет перечесть еще раз, но лакей напоминает, что пора идти в церковь. «Ах, дитя мое, – говорит она голосом, который привел меня в трепет, – вы так молоды и уже скитаетесь по свету; право, это жаль». Потом, не дожидаясь моего ответа, прибавляет: «Ступайте ко мне и ждите меня; скажите, чтобы вам дали позавтракать; после обедни я приду побеседовать с вами».

Луиза-Элеонора де Варане была урожденная девица де ла Тур де Пиль из старинной дворянской фамилии в Веве, городе кантона Во. Очень молодой она вышла замуж за г-на де Варане из дома де Луа, старшего сына г-на Вильярдена из Лозанны. Этот брак, оказавшийся бездетным, был не слишком удачным, и г-жа де Варане, под влиянием какого-то семейного огорчения, решила уйти от мужа и воспользовалась для этого пребыванием короля Виктора-Амедея в Эвиане;<sup>{34}</sup> переправившись через озеро, она бросилась к ногам этого государя, оставив, таким образом, семью и родину по легкомыслию, довольно сходному с моим и которое ей тоже пришлось впоследствии оплакивать. Король, любивший представляться ревностным католиком, принял ее под свое покровительство, назначил ей пенсию в тысячу пятьсот пьемонтских ливров<sup>{35}</sup>, что было много для такого бережливого монарха, и, заметив, что вследствие такого радушного приема его стали считать влюбленным в г-жу де Варане, отправил ее под охраной своих гвардейцев в Аннеси, где она под духовным руководством Мишеля-Габриэля де Берне, епископа женевского, отреклась от прежней веры в монастыре визитандинок!

Г-жа де Варане жила в Аннеси уже пять или шесть лет, когда я впервые увидел ее, и ей было тогда двадцать восемь, так как она родилась вместе с веком. Она одарена была той красотой, которая сохраняется долго, потому что заключается более в выражении, нежели в чертах, и эта красота находилась еще в первом своем расцвете. У нее был вид нежный и ласковый, взгляд очень мягкий, ангельская улыбка, рот одного размера с моим, пепельные волосы редкой красоты, которые она причесывала небрежно, что придавало ей особую привлекательность. Она была маленького роста, даже приземиста и чуть коренаста, но не без-



образно; невозможно было найти более прекрасную голову, более прекрасную грудь, более прекрасные плечи и более прекрасные руки.

Воспитание ее было очень беспорядочно; подобно мне, она лишилась матери с самого рождения и, усваивая знания, – безразлично, откуда бы они ни исходили, – кое-чему научилась у гувернантки, кое-чему у своего отца, кое-чему у учителей и очень многому у любовников, особенно у одного из них, некоего де Тавеля, который, обладая вкусом и познаниями, украсил ими любимую женщину. Но слишком разнообразные познания вредили друг другу, а неумение их упорядочить помешало ей развить природную остроту ума. Так, располагая некоторыми сведениями по философии и физике, она все же переняла от своего отца вкус к практической медицине<sup>{36}</sup> и алхимии: приготавливала эликсиры, тинктуры, бальзамы, минеральные порошки и считала, что обладает секретами. Шарлатаны, пользуясь ее слабостью, завладели ею, подчинили ее своим замыслам, разорили и, если можно так выразиться, растворили в химических печах и лекарствах ее ум, ее таланты, ее прелесть, которые могли бы быть отрадой самого избранного общества.

Низкие мошенники воспользовались ее беспорядочным образованием, чтобы ложно направить ее ум, но ее превосходное сердце выдержало испытание и навсегда осталось неизменным: ее любящий и кроткий характер, ее сострадательность, ее неисчерпаемая доброта, ее нрав, веселый, открытый, искренний, никогда не изменялись; и даже с приближением старости, среди нищеты, болезней, разных бедствий, ясность ее прекрасной души сохранила ей до конца жизни всю безмятежность лучших дней.

Ее заблуждения происходили от неисчерпаемой потребности действовать, ищущей непрестанного применения. Не к женским интригам стремилась она, а к предприятиям, которые нужно было создавать и направлять. Она была рождена для великих дел. На ее месте г-жа де Лонгвиль<sup>{37}</sup> только подняла бы сумятицу, а она на месте г-жи де Лонгвиль управляла бы государством. Ее таланты пропадали зря, и то самое, что в других обстоятельствах создало бы ей славу, – при том положении, которое она занимала, привело ее к гибели. В вопросах, ей доступных, она всегда создавала обширные планы и старалась поставить дело на широкую ногу. Поэтому, употребляя средства, соразмерные скорее ее намерениям, чем силам, она терпела неудачу по вине других; а когда ее проект не удавался, она разорялась там, где другие почти ничего не потеряли бы. Эта страсть к деловым предприятиям, навлекшая на нее столько несчастий, принесла ей по крайней мере одну пользу: помешала ей остаться в монастырском уединении до конца дней, к чему ее склоняли. Однообразная и простая жизнь монахинь, их мелочная болтовня в приемной не могли удовлетворить столь деятельный ум, строивший каждый день новые планы и нуждавшийся в свободе, чтобы отдаться им. Добрый епископ Берне, не обладая умом Франциска Сальского<sup>{38}</sup>, во многих отношениях был похож на него; и г-жа де Варане, которую он называл своей дочерью и которая походила на г-жу де Шанталь во многом, могла бы стать похожей на нее и своим уходом от мира, если бы природные склонности не отвратили ее от монастырской праздности. Не по недостатку усердия эта милая женщина не предалась мелочным обрядам благочестия, что, казалось бы, так подобало новообращенной, живущей под руководством прелата. Каковы бы ни были причины, побудившие ее переменить религию, она искренне исповедовала свою новую веру. Она могла раскаиваться в совершенной ошибке, но у нее не было желания ее исправить. Она не только умерла доброй католичкой, она была ею в жизни от чистого сердца; и я, уверенный, что читал в тайниках ее души, смею утверждать, что единственно из отвращения к ханжеству она не выказывала своей набожности публично: ее благочестие было слишком глубоким, ей не было нужды выставлять его напоказ. Но здесь не место распространяться о ее принципах; у меня еще будут поводы говорить о них.

Пусть те, кто отрицает симпатию душ, объяснят, если могут, каким образом с первой встречи, с первого слова, с первого взгляда г-жа де Варане внушила мне не только самую пылкую привязанность, но и полное доверие, которое никогда не было обмануто. Предположим, что мое чувство к ней было действительно любовью, – это покажется по меньшей мере сомнительным всякому, кто проследит историю наших отношений, – но каким образом эта страсть с самого ее зарождения сопровождалась чувствами, которые она менее всего способна возбуждать: душевным спокойствием, ясностью, чувством твердости и уверенности; каким образом, встретив впервые женщину изящную, прелестную, ослепительную, даму более высокого положения, чем мое, подобную которой я никогда не встречал, приближаясь к той, чье внимание определяло в некоторой степени мою судьбу, – каким образом, говорю я, несмотря на все это, я сразу же почувствовал себя так свободно, так непринужденно, словно я был совершенно уверен, что понравлюсь ей? Как могло случиться, что не было у меня ни минуты замешательства, застенчивости, робости? От природы стыдливый, смущающийся, никогда не видевший светских людей, каким образом с первого же дня, с первого же мгновения усвоил я с ней то простое обращение, тот нежный язык, тот дружеский тон, которые остались такими же и через десять лет, когда самая интимная близость сделала все это вполне естественным? Существует ли любовь, – не говорю без желаний: они у меня были, – но без тревоги, без ревности? Не стараемся ли мы по крайней мере узнать от предмета страсти, любимы ли мы им? Но мне ни разу за всю жизнь не пришло в голову спросить ее об этом – это было бы все равно, как если бы я задал себе вопрос, люблю ли я самого себя; и она никогда не старалась выяснить, как я отношусь к ней. Несомненно, было что-то необычное в моих чувствах к этой очаровательной женщине, и впоследствии читатели найдут в них такие странности, каких не ожидают.

Вопрос был в том, как поступить со мной; и, чтобы на досуге поговорить об этом, она оставила меня обедать. В моей жизни это был первый обед, когда я так мало ел, и даже горничная, прислуживавшая за столом, сказала, что впервые видит путешественника моего возраста и склада с таким отсутствием аппетита. Замечание это, не повредив мне в глазах ее госпожи, полностью могло быть отнесено к обедавшему с нами толстому мужлану, который в одиночку сожрал обед, достаточный для шестерых. Что касается меня, я был в таком восхищении, что не мог есть. Мое сердце питалось совершенно новым для меня чувством, овладевшим всем моим существом; я потерял способность думать о чем-либо другом.

Г-жа де Варане захотела узнать подробности моей незатейливой истории; во время рассказа ко мне вернулся весь жар, утраченный мною у моего хозяина-гравера. Чем больше располагал я в свою пользу эту превосходную душу, тем более сожалела она о той участи, которой я готов был подвергнуться. Ее нежное участие проявлялось в выражении лица, во взгляде, в жестах. Она не смела уговаривать меня вернуться в Женеву: в ее положении это было бы преступным оскорблением католичества, а она хорошо знала, как за ней следили и как взвешивали все ее слова. Но она говорила таким трогательным тоном об огорчении моего отца, что нельзя было сомневаться в ее одобрении, если бы я вернулся его утешить. Сама того не подозревая, она говорила против самой себя: решение мое было уже принято, как я, кажется, уже сказал, а чем красноречивее, убедительнее становились ее речи, тем больше проникали они в мое сердце, тем менее мог я решиться покинуть ее. Я чувствовал, что, вернувшись в Женеву, воздвигну почти непреодолимую преграду между нею и собой, если только не повторю вновь уже сделанного мною шага. Следовательно, лучше было вовсе не отступать от него. И я не отступил. Г-жа де Варане, видя бесполезность своих усилий, не стала доводить их до того, чтобы компрометировать себя, но сказала мне, со взглядом, полным сочувствия: «Бедняжка, ты должен идти, куда призывает тебя господь, но, когда станешь взрослым, ты вспомнишь обо мне». Думаю, она сама не предполагала, как жестоко исполнится ее предсказание.

Затруднения оставались в полной силе. Как просуществовать в такие молодые годы на чужбине? Пройдя обучение едва ли до половины, я знал свое ремесло далеко не достаточно. А если б даже и знал его, то не мог бы просуществовать на него в Савойе – стране, слишком бедной для процветания искусств. Мужлан, обедавший за нас двоих, почувствовал необходимость дать отдых своим челюстям и сделал нам тогда предложение, которое, по его словам, шло от неба, хотя, судя по последствиям, оно шло скорее с противоположной стороны; это предложение заключалось в том, чтобы я отправился в Турин и прожил там некоторое время в приюте для новообращенных, пользуясь, по его выражению, земными и духовными благами, а затем, принятый в лоно церкви, получил бы при помощи сострадательных душ подходящее место. «Что касается расходов на путешествие, – продолжал наш собеседник, – то его высокопреподобие монсеньор епископ, конечно, не откажет в поддержке, если сударыня (г-жа де Варане) попросит его сделать это святое дело; а г-жа баронесса, которая так сострадательна, – прибавил он, наклоняясь над своей тарелкой, – не замедлит, конечно, помочь со своей стороны».

Вся эта благотворительность показалась мне очень тяжелой; сердце мое сжалось, я не проронил ни слова; г-жа де Варане, не приняв этого проекта с тем пылом, с каким он был предложен, удовольствовалась замечанием, что каждый должен способствовать доброду делу соразмерно со своими возможностями и что она поговорит с монсеньором. Но этот дьявол в человеческом образе, боясь, что она будет говорить не так, как ему желательно, и преследуя свой интерес, побежал предупредить священников; он так ловко настроил этих добрых пастырей, что когда г-жа де Варане, опасаясь за меня, захотела поговорить об этом путешествии с епископом, оказалось, что все уже устроено, и он тут же вручил ей небольшую сумму, предназначенную для моих путевых издержек. Она не осмелилась настаивать, чтобы я остался: я приближался к тому возрасту, когда женщине ее лет было неприлично удерживать молодого человека при себе.

Мое путешествие было, таким образом, подготовлено лицами, которые обо мне заботились; мне оставалось только подчиниться, что я и сделал без особого неудовольствия. Хотя Турин был дальше Женевы, я считал, что, будучи столицей, он поддерживает с Аннеси сношения более тесные, чем город другого государства и другой религии; кроме того, отправляясь туда из повиновения г-же де Варане, я считал, что как бы продолжаю жить под ее руководством; это было больше, чем жить с ней по соседству. Наконец перспектива большого путешествия отвечала моей мании к бродяжничеству, уже тогда начавшей проявляться. Мне казалось заманчивым перейти горы в моем возрасте и подняться над моими товарищами на всю высоту Альп. Видеть новую страну – искушение, от которого женевец не может отказаться. Я дал согласие. Мой мужлан должен был отправиться через два дня со своей женой. Я был им вверен и поручен. Им передали мой кошелек, наполненный г-жой де Варане, и сверх того она тайком дала мне немного денег, сопроводив этот дар обильными наставлениями; и в страстную среду мы отправились.

На другой день после моего ухода из Аннеси туда явился мой отец, следовавший за мной по пятам с неким Ривалем, своим другом, таким же часовщиком, как и он, человеком умным и даже остроумным, сочинявшим стихи лучше Ламотта<sup>{39}</sup> и говорившим почти так же хорошо, как он; кроме того, человеком абсолютной честности, но литературное дарование которого оказалось без применения и имело лишь тот результат, что один из его сыновей стал актером.

Друзья повидали г-жу де Варане и удовольствовались тем, что поплакали вместе с ней над моей участью, вместо того чтобы следовать за мной и нагнать меня, что им было очень легко сделать, так как они ехали на лошади, а я шел пешком. Та же история вышла и с моим дядей Бернармом. Он прибыл в Конфиньон и, узнав, что я уже в Аннеси, вернулся в Женеву. Казалось, мои близкие сговорились с моей звездой, чтобы предоставить меня судьбе, ожи-

давшей меня. Мой брат пропал вследствие подобной же небрежности, и так основательно, что никто никогда не узнал, что с ним случилось.

Отец мой был не только человеком вполне порядочным: это был человек непоколебимой честности; он наделен был душою сильной, способной породить великие добродетели; сверх того, он был отличным отцом, особенно для меня. Он любил меня очень нежно, но любил также удовольствия, а с тех пор как я стал жить вдали от него, другие интересы немного охладили его отцовскую привязанность. В Нионе он снова женился, жена его была уже не в таком возрасте, чтобы дать мне братьев, но у нее были родственники; и это создавало новую семью, новую обстановку, новый строй жизни, отвлекавший от частых воспоминаний обо мне. Мой отец старел, и у него не было никаких средств для поддержки своей старости. Мне с братом досталось от матери кое-какое имущество, доход с которого должен был идти отцу, пока мы находились в отсутствии. Эта мысль не вставала перед ним прямо и не мешала исполнению его долга, но действовала скрытно, незаметно для него самого и порой сдерживала его рвение, иначе он действовал бы более решительно. Вот почему, думается мне, добравшись до Аннеси по моим следам, отец не последовал за мной в Шамбери<sup>{40}</sup>, где настиг бы меня, в чем в глубине души был уверен. Вот почему опять-таки, когда я после своего бегства часто приезжал к нему, он расточал мне отеческие ласки, но не делал больших усилий, чтобы удержать меня.

Нежность и добродетели отца были мне хорошо известны, и такое его поведение заставляло меня поразмыслить о самом себе, и это помогло мне сохранить чистоту сердца. Я вывел отсюда великое нравственное правило – единственное, быть может, которое применил на деле: избегать таких положений, которые ставят наши обязанности в противоречие с нашими интересами и заставляют видеть наше счастье в чужом несчастье, – ибо в подобных положениях, как бы ни была искренняя любовь к добродетели, рано или поздно всякий делается менее стойким, сам того не замечая, и становится несправедливым и дурным на деле, не переставая оставаться справедливым и добрым в душе.

Это правило, крепко запечатленное в глубине моего сердца и осуществляемое мною – хотя и с некоторым запозданием – во всем моем поведении, принадлежит к числу тех, которые придают мне на людях вид самый странный и глупый, особенно среди моих знакомых. Меня обвиняли в желании быть оригинальным и не поступать, как другие. А на самом деле я вовсе не думал ни о том, чтобы поступать, как другие, ни о том, чтобы поступать иначе, чем они. Я искренне желал поступать хорошо. Я изо всех сил старался избегать положений, в которых мои интересы были бы противоположны интересам другого лица и оттого внушали бы мне тайное, хотя и невольное желание зла этому человеку.

Два года тому назад милорд маршал хотел включить меня в свое завещание<sup>{41}</sup>. Я воспротивился этому изо всех сил. Я объяснил ему, что ни за что на свете не желал бы быть упомянутым в чьем бы то ни было завещании, а тем более в его собственном. Он сдался; теперь он хочет назначить мне пожизненную пенсию, и я не противлюсь этому. Скажут, что я выигрываю от такой перемены, – это возможно. Но, мой благодетель и отец! Если я, к несчастью, переживу вас, то буду знать, что, потеряв вас, я потерял все и ничего не выиграл.

Вот, по-моему, хорошая философия, единственно подобающая человеческому сердцу. С каждым днем я все больше и больше проникаюсь сознанием, что она глубоко основательна; и во всех последних своих сочинениях я рассматривал ее на разные лады, но легкомысленная публика не заметила ее там. Если я проживу достаточно, чтобы, закончив это сочинение, взяться за другое, я предполагаю в продолжение к «Эмилю»<sup>{42}</sup> дать такой прекрасный и убедительный пример этого правила, что мой читатель будет вынужден обратить на него внимание. Но для путешественника довольно размышлений: пора продолжать путь.

Я совершил его приятнее, чем предполагал, и мой деревенщина оказался не таким неотесанным, как можно было ожидать по его виду. Это был человек в летах, с заплетенными в косу черными седеющими волосами, с осанкой гренадера, с громким голосом и довольно веселый; он хорошо шагал, еще лучше поглощал еду; он занимался всевозможными ремеслами, потому что ни одного не знал как следует. Кажется, он предложил устроить в Аннеси какую-то фабрику. Г-жа де Варане не преминула присоединиться к этому проекту, и вот теперь, чтобы заручиться согласием министра, он отправлялся на чужой счет в Турин. Этот человек, все время вертясь среди священников и делая вид, что готов им услужить, умел ловко интриговать; он перенял от них особый набожный жаргон и пользовался им постоянно, воображая себя великим проповедником. Он даже знал латинский отрывок из Библии, причем получалось так, будто он знает их тысячу, так как повторял его тысячу раз в день. Он редко нуждался в деньгах, когда знал, что они имеются в кошельке у другого; впрочем, он был скорее хитрец, чем плут, и, произнося свои плоские поучения тоном вербовщика, походил на отшельника Петра<sup>{43}</sup>, который проповедует крестовый поход, опоясавшись саблей.

Его супруга, г-жа Сабран, была довольно добрая женщина, более спокойная днем, чем ночью. Так как я всегда спал с ними в одной комнате, то ее бурная бессонница часто будила меня, – она будила бы меня еще чаще, если б я понимал ее причину. Но я даже не подозревал, в чем дело, – по этой части я был так глуп, что всю заботу о моем обучении пришлось взять на себя самой природе.

Я весело шагал со своим набожным проводником и его резвой подругой. Ни одно происшествие не омрачало моего пути, и телесно и душевно я чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Молодой, сильный, полный здоровья, спокойствия, уверенности в себе и в других, я находился в том кратком, но драгоценном периоде жизни, когда ее выступающая из берегов полнота, так сказать, расширяет наше существо при помощи всех наших ощущений и украшает в наших глазах всю природу прелестью нашего существования. Мое сладкое волнение имело предмет, что делало его менее бесцельным и давало направление моему воображению. Я смотрел на себя как на создание, ученика, друга, почти возлюбленного г-жи де Варане. Ее приятные речи, ее милые ласки, нежное участие, которое она, видимо, приняла во мне, ее очаровательные взгляды, казавшиеся мне полными любви, потому что они вызывали ее во мне, – все это давало пищу моим мыслям в пути и порождало восхитительные мечтанья. Ни малейшая боязнь, ни малейшее сомнение в своей судьбе не смущали этих мечтаний. Отправить меня в Турин – это значило, на мой взгляд, принять на себя обязанность дать мне средства к жизни, прилично устроить меня там. Мне больше не надо было хлопотать о себе, – другие приняли заботу об этом на себя. Итак, я шел налегке, освобожденный от этого груза; юные желанья, обольстительные надежды, блестящие планы наполняли мою душу. Все, что я видел вокруг, казалось мне порукой моего близкого счастья. В каждом доме грезилась мне сельская пирушка, в полях – веселые игры, у рек и озер – купанье, прогулки, рыбная ловля, на деревьях – чудесные плоды, под их тенью – страстные свиданья, на горах – чаны с молоком и сливками; очаровательный досуг, мир, простота, наслаждение брести сам не зная куда. Наконец все, что ни попадалось мне на глаза, дарило моему сердцу какую-то радость и наслаждение. Величие, разнообразие, подлинная красота всего окружающего делали это очарование достойным разума; даже тщеславие имело здесь свою долю. Таким молодым отправиться в Италию, увидеть столько стран, перейти Альпы по стопам Ганнибала – казалось мне славой выше моего возраста. Прибавьте ко всему этому частые и удобные остановки, большой аппетит и возможность его удовлетворить; ибо, говоря по правде, это мне было нетрудно, так как сравнительно с обедом г-на Сабрана мой обед был очень скромным.

Не помню, чтобы когда-либо в течение всей моей жизни у меня был период, столь же чуждый всяких забот и огорчений, как семь-восемь дней, потраченных на это путешествие;

тем более что шаг г-жи Сабран, по которому нам приходилось равняться, превратил это путешествие в длительную прогулку. Воспоминание об этом пути оставило во мне живейшую любовь ко всему, что с ним было связано, особенно же к горам и к самим переходам. Я путешествовал пешком только в мои счастливые дни, и всегда с наслаждением. Вскоре обязанности, дела, необходимость брать с собою вещи принудили меня изображать из себя барина и нанимать экипаж; сменяющие сердце заботы, хлопоты, тревоги уселись туда рядом со мной; и с тех пор, вместо того чтобы, как в прежних моих путешествиях, чувствовать удовольствие от самого передвижения, я уже испытывал только желание поскорее прибыть на место. Я долго искал в Париже двух товарищей, которые, разделяя мою склонность, согласились бы пожертвовать каждый по пятьдесят луидоров из своего кошелька и по одному году жизни, чтобы вместе со мной обойти пешком Италию в сопровождении слуги, который заменял бы экипаж и нес бы наши спальные мешки. Многие, казалось, приходили в восторг от этого проекта, но в глубине души считали его просто воздушным замком, о котором только говорят, вовсе не собираясь осуществить свой замысел на деле. Помню, что, говоря с увлечением об этом проекте Дидро и Гримму, я наконец вдохновил их. Я думал, что на этот раз дело сделано; но все свелось к решению ограничиться путешествием на бумаге, причем Гримм не нашел ничего более забавного, как толкнуть Дидро на всякие богохульства, а меня бросить вместо него в объятия инквизиции.

Мое сожаление по поводу слишком быстрого прихода в Турин умерялось удовольствием видеть большой город и надеждой, что скоро я займу там достойное место, так как угар честолюбия начал уже кружить мне голову; я уже смотрел на себя, как на человека, стоящего несравненно выше своего прежнего положения подмастерья, – не предвидя того, что скоро я опущусь значительно ниже.

Прежде чем продолжать повествование, я должен извиниться и оправдаться перед читателем, ибо я вошел в мелочные подробности, в которые буду входить и в дальнейшем, хотя они не представляют для него никакого интереса. Чтобы осуществить задуманное мной – то есть показать людям всего себя целиком, – надо сделать так, чтобы ничто, меня касающееся, не осталось для читателя неясным или скрытым. Надо, чтобы я беспрестанно был у него перед глазами, чтобы он следовал за мной во всех заблуждениях моего сердца, проникнул во все закоулки моей жизни, чтобы он ни на минуту не терял меня из виду; в противном случае я боюсь, что, найдя в моем рассказе малейший пропуск, малейший пробел и спрашивая себя: «Что же он делал в это время?» – читатель станет обвинять меня, будто я не хотел говорить все. Я дал человеческому коварству довольно пищи своими рассказами, чтобы еще увеличивать ее своим молчанием.

Мой небольшой денежный запас исчез: я проболтался, и мои спутники не упустили случая воспользоваться этим. Г-жа Сабран нашла средства выманить у меня все, вплоть до небольшой посеребренной ленточки, подаренной мне г-жой де Варане для маленькой шпаги. Этой ленточки мне было жаль больше всего; да и шпага осталась бы в их руках, если б я не запрямился. В дороге они добросовестно содержали меня, но зато ничего мне не оставили. Я пришел в Турин без одежды, без денег, без белья, возлагая исключительно на свои собственные заслуги всю честь завоевания тех успехов, которые ждали меня впереди.

У меня были письма, я отнес их, и меня тотчас отвели в убежище для новообращенных, чтобы наставить там в той религии, за которую я получал свое пропитание. При входе я увидел тяжелую дверь с железными засовами, и лишь только я вошел, ее заперли на двойной поворот ключа. Такое начало показалось мне более внушительным, чем приятным, но не успел я над этим задуматься, как меня уже ввели в довольно обширную комнату. Там я вместо всякой мебели увидел в самой глубине деревянный алтарь с возвышающимся над ним распятием, а вокруг четыре или пять, тоже деревянных, стульев, которые казались натертыми воском, – так они лоснились от долгого употребления.

В этом зале для собраний находилось четверо или пятеро ужасных бандитов, моих товарищей по обучению, походивших скорее на воинов сатаны, чем на людей, взыскующих стать детьми божьими. Двое из этих негодяев, выдававшие себя то за евреев, то за мавров, признались мне, что проводят свою жизнь в странствиях по Испании и Италии и переходят в христианскую веру всюду, где это выгодно. Потом открылась другая железная дверь, которая разделяла на две части большой балкон, возвышающийся над двором. Вошли наши новообращенные сестры, которые, подобно мне, были на пути к возрождению не посредством крещения, а посредством торжественного отречения. Это были отъявленные распутницы, самые отвратительные потаскухи, какие когда-либо оскверняли своим непотребством лоно церкви господней. Только одна из них показалась мне хорошенькой и довольно привлекательной. Она была приблизительно моих лет, может быть – на год или на два старше. У нее были плутовские глаза, и они встречались иногда с моими. Это внушало мне желание с ней познакомиться, но в течение почти двух месяцев, которые она еще пробыла в этом доме, где до меня уже находилась целых три месяца, у меня не было никакой возможности к ней приблизиться: так строго наблюдала за ней наша старая надзирательница и так осаждал ее святой миссионер, хлопотавший о ее обращении с большим рвением, но не особенно ловко. Надо полагать, что она была до крайности тупа, хоть и не производила такого впечатления, – потому что никогда обучение не продолжалось так долго. Святой человек все не признавал ее достаточно подготовленной к отречению. Однако ей надоело заключение, и она объявила, что христианкой или нехристианкой, но она хочет выйти из этого убежища. Пришлось ловить ее на слове, пока она еще соглашалась перейти в другую веру, из боязни, что она взбунтуется и не захочет креститься.

Маленькая община была собрана в честь вновь прибывшего. Нам прочли краткое поучение: меня призывали возблагодарить бога за милость, которую он мне оказывает; остальных пригласили присоединить свои молитвы к моим и наставлять меня своими примерами; затем наши девственницы вернулись в свое заточение, а у меня осталось достаточно времени удивляться, сколько мне угодно, тому, что я сам очутился под замком.

На следующий день нас опять собрали для поучения, и только тут я в первый раз начал раздумывать о том шаге, который собирался сделать, и об обстоятельствах, побудивших меня к этому.

Я говорил, повторяю и буду, может быть, еще повторять то, в чем с каждым днем все больше и больше убеждаюсь: что если когда-либо ребенок получил разумное и здоровое воспитание, то это я. Родившись в семье, выделявшейся среди других своими добрыми правилами, я получил от всех своих родственников лишь уроки благонравия и примеры порядочности. Отец мой, хотя и любил житейские удовольствия, был человек не только твердой и безукоризненной честности, но и очень религиозный. Безупречный в глазах окружающих и христианин душой, он с ранних лет внушил мне чувства, которыми сам был проникнут. Из трех моих теток, скромных и добродетельных, две старшие были очень набожны, а третья, девушка, исполненная прелести, ума и чувства, была, может быть, еще более набожной, хотя меньше это показывала. Из лона этой уважаемой семьи я попал к г-ну Ламберсье. Духовное лицо и проповедник, он тем не менее был глубоко верующим и поступал почти так же хорошо, как проповедовал. Его сестра и он сам своими мягкими и разумными наставлениями укрепили в моем сердце уже заложенные в нем основы благочестия. Эти достойные люди прибегали к таким верным, таким осторожным, таким разумным приемам, что я не только не скучал на проповеди, но уходил оттуда всегда глубоко тронутый, с решением вести хорошую жизнь, и нарушал его очень редко, постоянно думая об этом. Набожность моей тетки Бернар больше надоедала мне, потому что она превращала ее в ремесло. У своего хозяина я над этим не задумывался, хоть и не изменил своего образа мыслей. Мне не попадались молодые люди, которые могли бы меня совратить. Я стал шалуном, но не вольнодумцем.

Итак, из религии я усвоил все, что доступно ребенку моих лет. Даже больше, потому что – зачем мне утаивать свою мысль? – детство мое вовсе не было детством в собственном смысле слова: я всегда чувствовал и мыслил, как взрослый человек. Только вырастая, вернулся я к общему уровню; родившись же, я был далек от него. Надо мной будут смеяться, что я с таким скромным видом выдаю себя за чудо. Пусть; но, насмеявшись вдоволь, пусть попробуют найти ребенка, которого бы в шесть лет интересовали, увлекали и приводили в восторг романы так, чтобы он плакал от них горячими слезами; тогда я пойму смехотворность своего тщеславия и признаю, что не прав.

Так, когда я высказывал мысль, что совсем не надо говорить детям о религии, если хотят, чтобы она когда-нибудь у них была, и что дети не способны познать бога хотя бы так, как мы, я исходил в своем чувстве из своих наблюдений, а не из собственного опыта; я знал, что на основании его нельзя делать выводы о других. Найдите шестилетних Жан-Жаков Руссо и в семь лет начните говорить им о боге, – ручаюсь, что вы ничем не рискуете.

Каждому, я думаю, понятно, что для ребенка и даже для взрослого иметь религию – значит следовать той, в которой он родился. Иногда от нее что-нибудь отнимают, но прибавляют к ней редко: догматическая вера есть результат воспитания. По этому общему правилу я был привязан к вере моих отцов, а кроме того, питал в то время характерное для нашего города отвращение к католицизму, который нам изображали как ужасное идолопоклонство, а его духовенство рисовали в самых черных красках. Доходило до того, что я не мог заглянуть внутрь церкви, встретить священника в стихаре, услышать колокольчик процессии, не содрогнувшись от ужаса и страха, которые скоро перестали овладевать мною в городах, но еще долго охватывали меня в деревенских приходах, более похожих на те, где я эти чувства впервые испытал. Правда, этому впечатлению странным образом противоречило воспоминание о ласках, – священники в окрестностях Женевы охотно расточают их городским детям. В то время как колокольчик процессии пугал меня, – звон к обедне и к вечерне напоминал мне о завтраке, закуске, свежем масле, плодах, молочных продуктах. Прекрасный обед г-на де Понвера тоже произвел большое впечатление. Вот почему я стал легко относиться ко всему этому. Думал я о папизме лишь в связи с удовольствиями и лакомством и без труда свыкся с необходимостью жить в его окружении, но мысль о том, чтобы торжественно вступить в него, являлась мне лишь мимолетно и относилась к далекому будущему. А теперь ничего уже нельзя было изменить: я смотрел с самым неподдельным ужасом на своего рода обязательство, принятое мною, и на его неизбежное следствие. Будущие новообращенные, окружавшие меня, были не способны укрепить мое мужество своим примером; и я не мог скрыть от себя, что святое дело, которое я собирался совершить, было, в сущности, не чем иным, как поступком бандита. Хотя я был очень молод, я чувствовал, что, какая бы религия ни была истинной, свою я собираюсь продать и что, если даже мой выбор удачен, я солгу в глубине сердца святому духу и заслужу презрение людей. Чем больше я об этом думал, тем больше негодовал на самого себя и стонал о своей судьбе, которая довела меня до этого, как будто эта самая судьба не была делом моих рук. Бывали минуты, когда эти размышления приобретали такую силу, что, если бы дверь хоть на мгновение оказалась открытой, я бы, конечно, сбежал, – но это было невозможно, да и решимости моей хватило ненадолго.

Слишком много тайных желаний боролось с нею, чтобы не победить ее. К тому же упорство в принятом решении не возвращаться в Женеву, стыд, самая трудность обратного перехода через Альпы, затруднительность моего положения вдали от родины, без поддержки, без средств к существованию – все это вместе взятое заставляло меня смотреть на угрызения своей совести, как на раскаяние запоздалое; я преувеличивал, упрекая себя в том, что сделал, чтобы оправдать то, что собирался сделать. Отягчая заблуждения прошлого, я смотрел на будущее, как на их неизбежное следствие. Я не говорил себе: «Еще ничего не



сделано, и ты можешь остаться невинным, если захочешь», а говорил: «Сокрушайся о преступлении, в котором ты виновен и которое вынужден довести до конца».

В самом деле, какая редкая сила духа нужна была мне в моем возрасте, чтобы отказаться от всего, что я до тех пор обещал или на что дал повод рассчитывать, и, разрывая цепи, которыми сам себя сковал, бесстрашно объявить, что хочу остаться верным религии своих отцов, принимая все возможные последствия! Эта сила не свойственна юному возрасту, да и маловероятно, чтобы она дала нужные результаты. Дело зашло слишком далеко, от него не захотели бы отказаться, и чем больше росло бы мое сопротивление, тем с большей силой и всевозможными способами постарались бы его подавить.

Меня погубил тот же самый софизм, к которому прибегает большинство людей, жалуясь на недостаток сил, когда уже слишком поздно ими воспользоваться. Добродетель имеет для нас цену лишь вследствие нашей ошибки, и если бы мы захотели всегда быть благоразумными, нам редко представлялась бы необходимость быть добродетельными. Но легко преодолимые склонности увлекают нас, не вызывая сопротивления; мы поддаемся легким искушениям, презирая их опасность. Нечувствительно мы попадаем в гибельные положения, которых легко могли бы избежать, но выйти из которых уже не можем без героических усилий, пугающих нас, – и, наконец, падаем в пропасть, взывая к богу: «Зачем ты создал меня таким слабым?» Но, вопреки нам, он отвечает нашей совести: «Я создал тебя слишком слабым, чтобы выйти из пропасти, оттого что создал тебя достаточно сильным, чтобы туда не попасть».

Собственно, я еще не принял окончательного решения стать католиком; но, видя, что срок пока далек, постепенно приучал себя к этой мысли и, находясь в ожидании, надеялся, что какое-нибудь непредвиденное событие выведет меня из затруднения. Чтобы выиграть время, я решил энергично защищаться, насколько это было для меня возможно. Вскоре тщеславие заставило меня забыть о моем решении, и как только я заметил, что иногда сам ставлю в затруднительное положение тех, которые собирались меня поучать, я тотчас переходил в наступление, пытаюсь окончательно их разбить. Я даже проявил в этом деле чрезвычайно глупое рвение, и в то время как мои наставники обрабатывали меня, я старался обработать их. Я самым искренним образом полагал, что, стоит мне только убедить их, они неизбежно станут протестантами.

Таким образом, они совсем не нашли во мне той податливости, которой ожидали, – ни со стороны моих познаний, ни со стороны воли. Протестанты обычно более образованны, чем католики. Это и понятно: учение первых требует обсуждения, учение вторых – подчинения. Католик должен подчиняться решениям, которые ему сообщают, протестант должен научиться решать сам. Это было известно, но ни мой возраст, ни мое положение не давали оснований ждать особых затруднений для опытных людей. К тому же я еще не был у первого причастия и не получил тех наставлений, которые ему предшествуют; это тоже было известно, но никто не знал, как хорошо зато я был обучен у г-на Ламберсье, ни того, что у меня под рукой имеется небольшой и весьма неприятный для этих господ запас сведений в виде «Истории церкви и государства», которую я выучил чуть не наизусть у отца и с тех пор почти забыл, но которая восстанавливалась в моей памяти, по мере того как спор разгорался.

Первое собеседование вел с нами старый священник, низенький, но довольно почтенный. Для моих товарищей собеседование это было скорее уроком катехизиса, чем богословским спором о вере, и священнику больше приходилось поучать их, чем отвечать на их возражения. Но со мной дело обстояло иначе. Когда очередь дошла до меня, я то и дело прерывал его, не упуская случая поставить его в затруднение. От этого собеседование сильно затянулось и стало очень скучным для присутствующих. Старый священник много говорил, горячился, молот вздор и выходил из трудных положений, отговариваясь, что плохо понимает по-французски. На другой день, опасаясь, как бы мои нескромные возражения не посеяли

соблазна среди моих товарищей, меня поместили отдельно, в другую комнату, с другим священником, помоложе, – очень красноречивым, то есть любителем пышных фраз, и самодовольным превыше всех ученых в мире. Однако я не позволил ему слишком подавить меня своим внушительным видом и, чувствуя, что в конце концов только исполняю свою обязанность, стал отвечать ему довольно уверенно, донимая его, как только мог, то тем, то другим. Он думал побить меня св. Августином, св. Григорием и другими отцами церкви, но, к своему великому удивлению, обнаружил, что я управляюсь со всеми этими отцами почти так же легко, как он сам, и не потому, чтобы когда-нибудь читал их, – как и он сам, может быть, – но потому что запомнил много отрывков, приведенных у Лесюэра; и как только он мне цитировал кого-нибудь из них, я, не оспаривая этой цитаты, приводил ему из того же отца церкви другую, чем неоднократно ставил его в тупик. Но в конце концов он одержал верх надо мной по двум причинам: во-первых, сила была на его стороне, и я, чувствуя себя, так сказать, в его полной власти, – как ни был молод, хорошо понимал, что не надо выводить его из терпения, так как заметил, что и моя эрудиция, и я сам очень не понравились маленькому старику священнику; во-вторых, молодой священник был человек образованный, а я нет. Поэтому в своих доказательствах он пользовался методом, который был мне недоступен; когда же он чувствовал, что прижат к стене неожиданным возражением, он откладывал ответ до другого дня, заявляя, что я отклоняюсь от темы. Иногда он даже отвергал все мои цитаты, утверждая, что они фальшивы, и предлагал мне пойти за книгой, уверенный, что я их там не найду. Он знал, что ничем не рискует и что, несмотря на мою показную ученость, я слишком неопытен в обращении с книгой и слишком плохой латинист, чтобы отыскать в толстом томе отрывок, даже зная наверное, что он находится там. Я даже подозреваю его самого в подделке, в которой он обвинял пасторов, – в том, что он присочинил отдельные места, чтобы увильнуть от неудобных для него возражений.

Пока продолжались эти пустые споры и дни проходили в диспутах, бормотании молитв и ничегонеделании, со мной случилось скверное происшествие, чуть не окончившееся для меня очень плохо.

Нет такой низкой души и такого варварского сердца, которые были бы совершенно не способны к какой-либо привязанности. Один из двух бандитов, выдававших себя за мавров, полюбил меня. Он часто подходил ко мне, болтал со мной на своем ломаном франкском наречии<sup>{44}</sup>, оказывал мне мелкие услуги, иногда делился со мной за столом своей порцией и то и дело целовал меня с пылкостью, очень меня тяготившей. Несмотря на вполне понятный ужас, который внушало мне его лицо, похожее цветом на коврижку, украшенное длинным шрамом, и его горящий взгляд, казавшийся скорее свирепым, чем нежным, – я терпел его поцелуи, говоря себе: «Бедняга почувствовал ко мне большую привязанность, – я не должен его отталкивать!» Мало-помалу его обращение становилось все более вольным, и он стал заводить со мной такие странные речи, что мне казалось, он сошел с ума. Однажды вечером он захотел лечь спать со мной; я воспротивился, говоря, что моя кровать слишком узка. Он стал уговаривать меня, чтобы я лег на его постель; я опять отказался, потому что этот несчастный был так нечистоплотен и от него так несло жевательным табаком, что меня тошнило.

На другой день, довольно рано утром, мы были с ним вдвоем в зале собраний; он возобновил свои ласки, причем движения его стали такими неистовыми, что он сделался страшным. Наконец он дошел до самых непристойных вольностей. Я бросился на балкон, взволнованный, смущенный, даже испуганный, как ни разу в жизни, и близкий к обмороку.

Я не мог понять, что было с этим несчастным; я думал, что у него припадок падучей или какого-нибудь другого еще более ужасного исступления; и, право, я не могу представить себе ничего более отвратительного для спокойного наблюдения, чем такое бесстыдное, гнусное поведение и такое ужасное, воспламененное самой грубой похотью лицо. Я никогда

не видал другого мужчины в подобном состоянии, но если мы бываем такими с женщинами, они должны быть очень ослеплены, чтобы не прийти от нас в ужас.

Я поспешил как можно скорее рассказать всем о том, что произошло. Старуха начальница велела мне молчать; но я видел, что это происшествие ее сильно взволновало, и слышал, как она ворчала сквозь зубы: «*Can maledet! brutta bestia!*»<sup>6</sup>

Так как я не понимал, почему должен молчать, я продолжал болтать, несмотря на запрещение, и доболтался до того, что на другой день один из наставников сделал мне строгий выговор, обвиняя меня в том, что я порочу честь святого дома и поднимаю шум из-за пустяков.

Он продолжал свое внушение, объяснив мне многое, чего я не знал, и не подозревая при этом, что просвещает меня, так как был уверен, что я защищался, зная, чего от меня требуют, и не соглашаясь на это. В своем бесстыдстве он зашел так далеко, что стал называть вещи своими именами и, воображая, что причиной моего сопротивления была боязнь боли, уверял меня, что эта боязнь неосновательна и мне нечего было тревожиться.

Я слушал этого мерзавца с тем большим удивлением, что он действовал бескорыстно, он поучал меня как будто для моего собственного блага. То, о чем он говорил, представлялось ему настолько обиденным, что он даже не постарался остаться со мной с глазу на глаз; в качестве третьего лица с нами был церковник, которого все это тоже несколько не пугало. Непринужденность беседы так подействовала на меня, что я пришел к мысли, будто это обычай, принятый всеми, и я только не имел случая раньше с ним познакомиться. Поэтому я слушал без гнева, но с омерзением. Впечатление от пережитого и в особенности от того, что я видел, так сильно запечатлелось в моей памяти, что при одной мысли об этом меня начинало тошнить. Хотя я ничего больше не узнал, отвращение к происшествию распространилось на его защитника, и я не мог настолько сдерживать себя, чтобы он не заметил плохого действия своих уроков. Он бросил на меня неласковый взгляд и с тех пор не щадил усилий, чтобы сделать мне пребывание в убежище как можно более неприятным. И настолько в этом преуспел, что я, понимая всю невозможность выйти отсюда иным путем, поспешил вступить на единственный путь, ведущий к выходу, хотя раньше старался отдалить это мгновение.

Этот случай послужил мне в дальнейшем защитой от предприимчивости подобных проходимцев; люди, слывшие такими, видом своим и жестами всегда напоминали мне моего страшного мавра и внушали такой ужас, что мне было трудно его скрыть. Напротив, женщины от этого сравнения очень выиграли в моих глазах, мне стало казаться, что я обязан вознаградить их нежностью чувств, своей личной почтительностью за оскорбления со стороны моего пола, и самая безобразная дурнушка при воспоминании об этом лжеафриканце становилась в моих глазах существом, достойным обожания.

Что сказали ему самому, я не знаю, но, за исключением матушки Лоренцы, никто как будто не стал относиться к нему хуже, чем раньше. Как бы то ни было, он больше ко мне не подходил и не заговаривал со мной. Через неделю его с большой торжественностью окрестили, одев в белое с ног до головы, чтобы изобразить чистоту его возродившейся души. На другой день он вышел из убежища, и я больше никогда его не видал.

До меня дошла очередь через месяц: столько времени потребовалось на то, чтобы моим наставникам досталась честь такого трудного обращения, причем, пользуясь теперешней моей покорностью, меня подвергли проверке по всем догматам. Наконец, когда мои руководители нашли, что я достойно обучен и подготовлен к повиновению, меня отвели в процессии в соборную церковь Св. Иоанна, где я должен был торжественно отречься и принять все аксессуары крещения, хотя в действительности меня не крестили. Однако обряды при этом установлены почти такие же, как при крещении, для того чтобы внушить народу убеждение,

<sup>6</sup> Проклятый пес! грубое животное! (*итал.*)

что протестанты не христиане. Меня одели в серое платье особого покроя, с белыми нашивками, специально предназначенное для такого рода случаев. Два человека, впереди и позади меня, несли медные чаши, ударяя по ним ключом; каждый присутствующий клал туда милостыню сообразно со своим благочестием или участием к новообращенному. Одним словом, ничто из католической пышности не было упущено, чтобы сделать торжество более поучительным для публики и более унижительным для меня. Недоставало только белой одежды, которая была бы мне очень кстати, но мне ее не дали, в отличие от мавра, – ввиду того, что я не имел чести быть неверным.

Этим дело не кончилось: пришлось потом идти в инквизицию, получить там отпущение в грехе ереси и вступить в лоно церкви с той же церемонией, которой был подвергнут Генрих IV<sup>{45}</sup> в лице своего посла. Вид и манеры высокопреподобного отца инквизитора отнюдь не рассеяли тайного ужаса, охватившего меня при входе в этот дом. После целого ряда вопросов о моей вере, о моем положении, о моей семье он вдруг спросил меня, не осуждена ли моя мать на вечную муку. Ужас подавил первое движение моего негодования, и в ответ я лишь выразил надежду, что она не осуждена и что бог просветил ее в последний час. Монах замолчал, но сделал гримасу, которая показалась мне мало похожей на знак одобрения.

Когда со всем этим было покончено и я уже думал, что устроюсь наконец согласно своим надеждам, меня выставили за дверь, вручив на двадцать с лишним франков мелкой монеты, собранной в мою пользу. Мне посоветовали жить, как подобает доброму христианину, оставаясь верным благодати, пожелали мне успехов, захлопнули за мной дверь – и все исчезло.

Так в один миг померкли все мои великие надежды, и от своекорыстного шага, который я только что совершил, у меня осталось лишь воспоминание, что я превратился в отступника и попал впросак. Нетрудно вообразить, какой резкий поворот произошел в моих взглядах, когда после всех проектов блестящего будущего оказалось, что мне грозит полная нищета, и после того, как утром я думал о выборе дворца, в котором буду жить, а вечером увидел, что принужден ночевать на улице. Могут подумать, что я сразу впал в отчаяние тем более жестокое, что, сожалея о своих ошибках, должен был горько укорять себя и видеть, что все мое несчастье – дело моих собственных рук. Однако ничего этого не было. Впервые в жизни я более двух месяцев подряд провел взаперти, и первым чувством, которое я испытал, было чувство вновь обретенной свободы. После долгого рабства я вновь сделался хозяином самого себя и своих действий, очутился в большом городе, изобилующем всякими возможностями, в городе, где жило много состоятельных людей, которые, конечно, не преминут принять меня к себе, как только им станут известны мои таланты и достоинства. К тому же у меня было время, чтобы ждать, а двадцать франков в кармане казались мне неисчерпаемым сокровищем. Я мог располагать им по своему желанию, не давая никому никакого отчета. Впервые я чувствовал себя таким богатым. Далекий от мысли предаваться отчаянию и слезам, я только сменил одни надежды другими, без всякого ущерба для своего самолюбия. Никогда не был я так уверен в себе и так спокоен; мне казалось, что моя карьера уже сделана, и я радовался, что обязан этим только самому себе.

Прежде всего я обегал весь город, торопясь удовлетворить свое любопытство и проявить свою свободу. Я ходил смотреть, как сменяется караул; военная музыка мне очень понравилась. Я следовал за процессиями, с удовольствием слушая монотонное пенье священников. Я ходил смотреть королевский дворец; я приближался к нему с опаской, но, видя, что другие входят туда, последовал за ними; меня пропустили. Может быть, я был обязан этой милостью маленькому свертку, который был у меня под мышкой. Как бы там ни было, попав во дворец, я высоко возомнил о себе и уже смотрел на себя почти как на его обитателя. Наконец я устал шататься взад и вперед и почувствовал голод; было жарко; я зашел к

торговке молочными продуктами; мне дали джунки<sup>{46}</sup>, простокваши и пару продолговатых пьемонтских хлебцев, которые я предпочитаю всякому другому хлебу, – за пять-шесть су я пообедал так, как мне редко случалось обедать за всю мою жизнь.

Нужно было отыскать себе пристанище. Я уже знал по-пьемонтски достаточно, чтобы меня могли понять, поэтому мне нетрудно было его найти; и у меня хватило благоразумия выбирать скорее по состоянию своего кошелька, чем по своему вкусу. Мне указали на одну солдатку с улицы По: за одно су она давала на ночь приют безработной прислуге. Я нашел там пустую койку и занял ее. Хозяйка была молодая женщина, недавно вышедшая замуж, хотя у нее было уже пять или шесть человек детей. Мы спали все в одной комнате – мать, дети и постояльцы; так было все время, пока я у нее жил. В общем, это была славная женщина, ругавшаяся, как извозчик, вечно растрепанная и кое-как одетая, но с добрым сердцем и услужливая; она относилась ко мне дружелюбно и бывала мне даже полезна.

Я провел много дней, предаваясь наслаждению независимости и удовлетворяя свое любопытство. Я бродил по городу и за городом, разыскивал и посещал все места, казавшиеся мне любопытными и новыми, а для молодого человека, только что вылетевшего из своего гнезда и никогда не видавшего столицы, все было любопытно и ново. С особой неукоснительностью бывал я в дворцовой церкви, каждое утро присутствуя на королевской обедне. Мне казалось прекрасным находиться в одной часовне с королем и его свитой; но уже начавшая проявляться страсть к музыке влекла меня туда больше, чем пышность двора, которая, оставаясь всегда одинаковой, очень скоро перестает поражать. В то время у короля Сардинии был лучший в Европе симфонический оркестр: Соми, Дежарден, Безуцци блистали там один за другим. Но молодому человеку, приходившему в восторг при звуках самого простого инструмента, если только он не фальшивил, – этого даже и не нужно было. Вообще все это великолепие, поражая мое зрение, вызывало во мне лишь тупое восхищение, без всякой зависти. Единственно, что меня влекло к дворцовому блеску, это желание посмотреть, не найдется ли там какой-нибудь юной принцессы, достойной моего поклонения, с которой у меня завязался бы роман.

И у меня в самом деле чуть не завязался роман, – правда, в менее блестящем обществе, но, будь он доведен до конца, я почерпнул бы в нем в тысячу раз более восхитительные наслаждения.

Хотя я был очень бережлив, мой кошелек становился все более тощим. Бережливость моя происходила не от благоразумия, а скорей от простоты моих вкусов, которые и до сих пор остались у меня неизменными, несмотря на привычку к роскошным обедам. Я раньше не знал, не знаю и теперь ничего лучше деревенского обеда. Молочными продуктами, яйцами, овощами, сыром, пеклеванным хлебом и сносным вином меня можно всегда хорошо употчевать, мой отличный аппетит довершит остальное, если только дворецкий и лакеи, снующие около меня, не раздражают меня своей назойливостью. Когда-то я обедал за шесть или семь су гораздо лучше, чем обедаю теперь за шесть или семь франков. Итак, я был умерен в пище: ничто не соблазняло меня отступить от этого; пожалуй, я не прав, называя это умеренностью, так как я насыщался с великим сластолюбием. Груши, джунка, сыр, пьемонтский хлеб и несколько стаканов монфератского вина, до того густого, что хоть ломтями режь, делали меня счастливейшим из лакомок. Однако можно было ожидать, что мои двадцать франков скоро иссякнут. Это становилось со дня на день очевиднее, и, несмотря на легкомыслие, свойственное моему возрасту, беспокойство о будущем скоро перешло у меня в настоящий страх. Из всех моих воздушных замков остался только один: надежда найти себе занятие, которое дало бы мне средства к существованию; но и это было не особенно легко осуществить. Я подумал о своем прежнем ремесле; однако я знал его недостаточно, чтобы работать у мастера, да и мастеров-то в ту пору было в Турине не слишком много. Поэтому я решил в ожидании лучшего ходить из лавки в лавку и гравировать монограммы или гербы

на посуде, в надежде соблазнить людей дешевизной, предоставляя им платить мне по собственному желанию. Почти всюду я получал отказ, а то, что мне приходилось делать, были такие пустяки, что я с трудом зарабатывал себе на несколько обедов. Но однажды, проходя рано утром по Contra nova<sup>1471</sup>, я увидел в окне одного магазина молодую хозяйку, такую милостивую и привлекательную, что, несмотря на свою застенчивость с дамами, не колеблясь, вошел и предложил свой скромный талант к ее услугам. Она не прогнала меня, напротив – усадила, заставила рассказать мою незатейливую историю, пожалела, сказала, что я должен быть мужественным и что добрые христиане меня не оставят; потом, послав к находившемуся по соседству золотых дел мастеру за инструментами, которые были мне нужны, поднялась на кухню и сама принесла мне завтрак. Такое начало показалось мне хорошим предзнаменованием, и то, что последовало, не опровергло его. Она, по-видимому, осталась довольна моей работой, а еще больше моей болтовней, когда я почувствовал себя немного уверенней; она была блистательна и нарядна, и, несмотря на ее ласковый вид, блеск ее внушал мне почтительность. Но ее доброта, радушный прием, участливость и ласковое обращение привели к тому, что я почувствовал себя свободнее. Я заметил, что имею успех, и мне захотелось его увеличить; но хотя она была итальянкой и слишком хорошенькой, чтобы не быть немного кокетливой, она вместе с тем была так скромна, а я так робок, что трудно было ожидать, чтобы дело скоро наладилось. Нам не дали времени окончить начатое. Тем с большим очарованием вспоминаются мне краткие мгновения, которые я провел с ней; могу сказать, что в это время я вкусил во всей их новизне самые нежные и чистые наслаждения любви.

Это была чрезвычайно пикантная брюнетка, но природная доброта, написанная на ее красивом еще лице, делала живость ее трогательной. Ее фамилия была Базиль. Муж был значительно старше ее и довольно ревнив; на время своих путешествий он оставлял ее под прищотом приказчика, слишком хмурого и скучного, чтобы оказаться соблазнителем, который, однако, не преминул предъявить на нее притязания, но они проявлялись у него только в дурном расположении духа.

Он очень меня невзлюбил, хотя я с удовольствием слушал его игру на флейте, на которой он играл довольно хорошо. Этот Эгист<sup>1481</sup> всегда ворчал, когда я приближался к его даме. Он обращался со мной с таким же пренебрежением, с каким она обращалась с ним. Казалось даже, что ей приятно помучить его, обходясь со мной ласково в его присутствии, и такая месть, хотя и была очень мне по душе, понравилась бы мне гораздо больше, если бы это было наедине. Но до этого она не доводила или, во всяком случае, держалась при этом иначе. Оттого ли, что она находила, что я слишком молод, или не знала сама, как начать, или оттого, что действительно хотела быть добродетельной, но в ней замечалась сдержанность, которая не отталкивала, но смущала меня, сам не знаю почему. Я не питал к ней того уважения, столь же искреннего, сколь и нежного, какое внушала мне г-жа де Варане, но с ней я был более робок и чувствовал себя не так непринужденно. Я смущался, трепетал, не смел на нее взглянуть, не смел дышать в ее присутствии; я пожирал жадным взглядом все, на что мог глядеть, не привлекая внимания: цветы на ее платье, кончик ее хорошенькой ножки, ее крепкую белую руку в промежутке между перчаткой и рукавом и то, что порой виднелось у нее из-под косынки. Каждая подробность усиливала действие остальных. От созерцания всего, что я мог видеть, и даже многого другого у меня мутилось в глазах, я чувствовал стеснение в груди; дыхание, с минуты на минуту становясь все более затрудненным, плохо слушалось меня, и мне оставалось только потихоньку испускать вздохи, очень неловкие среди той тишины, которая нередко наступала у нас. К счастью, г-жа Базиль, занятая своей работой, как будто ничего не замечала. Тем не менее я видел иногда, как в силу особого рода симпатии вздымалась ее косынка на груди. Это опасное зрелище окончательно меня губило,

но, когда я уже готов был отдаться своему порыву, она обращалась ко мне с каким-нибудь словом, сказанным таким спокойным тоном, что я мгновенно приходил в себя.

Я много раз оставался с нею наедине, но никогда ни слово, ни жест, ни слишком выразительный взгляд не устанавливали между нами ни малейшей близости. Это состояние, чрезвычайно для меня мучительное, тем не менее доставляло мне величайшее наслаждение, и в простоте сердца я с трудом понимал, отчего так страдаю. По-видимому, и ей эти краткие свидания с глазу на глаз тоже не были неприятны; во всяком случае, она довольно часто выискивала для них удобный случай, – старание весьма бескорыстное с ее стороны, принимая во внимание, как она использовала эти встречи и как позволяла мне их использовать.

Однажды, наскучив глупыми разговорами приказчика, она поднялась к себе; я поспешил скорее окончить небольшую работу в комнате позади лавки и последовал за ней. Дверь в ее комнату была приоткрыта; я вошел незамеченным. Она вышивала, сидя у окна; лицо ее было обращено к стене, противоположной двери. Она не могла видеть, как я вошел, и от грохота проезжавших по улице телег не могла слышать этого. Она всегда была хорошо одета; в этот день ее наряд был почти кокетлив. Ее поза была прелестна; слегка склоненная головка позволяла видеть белизну ее шеи; изящно приподнятые волосы были украшены цветами. Весь ее облик дышал очарованием, у меня было достаточно времени удостовериться в этом; я был вне себя. Я бросился на колени у порога, простирая к ней руки в страстном порыве, вполне уверенный, что она не услышит, и не думая, что она может меня увидеть; но над камином было зеркало, и оно выдало меня. Не знаю, какое впечатление произвел на нее этот порыв; но она не взглянула на меня, не проронила ни слова, но, повернув слегка голову, одним движением пальца указала мне на циновку у ее ног. Я задрожал и, вскрикнув, в одно мгновение очутился на месте, указанном ею; но мне с трудом поверят, что, находясь в таком положении, я не смел решиться ни на что большее, не смел сказать ни одного слова, не смел поднять на нее глаза, даже дотронуться до нее, чтобы опереться на мгновение на ее колени, хотя и находился в очень неудобной позе. Я был нем, неподвижен, но, конечно, не был спокоен; все во мне обличало волнение, радость, признательность, пылкие, неясные желания, сдерживаемые страхом не понравиться ей, и этот страх мое молодое сердце никак не могло преодолеть.

Она казалась взволнованной и растерянной не меньше моего. Смущаясь тем, что я возле нее, не понимая, как она могла довести меня до этого, начиная чувствовать все последствия вырвавшегося у нее необдуманного жеста, она не привлекала меня к себе и не отталкивала, не отрывала глаз от работы, старалась сделать вид, будто не замечает, что я у ее ног; вся моя глупость не помешала мне догадаться, что она разделяет мое смущение и, быть может, мои желанья, что ее сдерживает только стыдливость, подобная моей, – но это не придавало мне силы преодолеть смущение. Она была на пять-шесть лет старше меня и, как мне казалось, могла поэтому быть смелее меня; я говорил себе, что раз она не хочет поощрить мою смелость, то, значит, не желает видеть ее во мне. Даже теперь еще я нахожу, что рассуждал правильно, и, конечно, она была слишком умна, чтобы не видеть, что такой новичок, как я, нуждался не только в одобрении, но и в руководстве.

Не знаю, чем кончилась бы эта оживленная, но немая сцена и сколько времени я оставался бы неподвижным в этом смешном и вместе с тем восхитительном положении, если бы нас не прервали. В тот самый момент, когда мой порыв достиг высшего напряжения, я услышал, как в кухне, рядом с комнатой, в которой мы находились, отворилась дверь, и г-жа Базиль, обеспокоившись, быстро приказала мне словами и жестом: «Встаньте, идет Розина». Поспешно вставая, я схватил ее протянутую руку и запечатлел на ней два жарких поцелуя, почувствовав при втором поцелуе, что эта прелестная ручка слегка прижалась к моим губам. В жизни моей не было более сладкой минуты; но упущенный случай не повторился, и наша молодая любовь остановилась на этом.

Может быть, как раз потому-то образ этой милой женщины и запечатлелся в глубине моего сердца в таких прелестных чертах. Он даже становился все прекраснее, по мере того как я узнавал свет и женщин. Будь у нее хоть немного более опытности, она принялась бы за дело иначе, чтобы ободрить такого мальчика, как я. Но если ее сердце и было слабо, оно оставалось честным; против воли поддавалась она захватившему ее увлечению; по всей видимости, это была ее первая неверность, и мне, быть может, было бы труднее победить ее стыдливость, чем свою собственную. Но и не дойдя до этого, я пережил невыразимо сладкие мгновения. Все, что я перечувствовал, обладая женщинами, не стоит тех двух минут, которые я провел у ее ног, не смея даже коснуться ее платья. Нет, не существует наслаждений, подобных тем, которые способна доставить нам честная, любимая женщина; близ нее все ласкает нас. Легкий призывный жест, знак пальцем, слегка прижатая к моим губам рука – вот единственные милости, какие я когда-либо получал от г-жи Базиль, но воспоминание об этих милостях, в сущности таких незначительных, до сих пор приводит меня в восторг.

В следующие два дня, как я ни старался опять остаться с нею с глазу на глаз, мне было невозможно выбрать подходящий момент, а с ее стороны я не заметил ни малейшей попытки устроить это. Даже ее обращение стало не то что холодней, но сдержанней обычного; и мне кажется, она избегала моих взглядов из опасения, что не сумеет справиться со своими. Проклятый приказчик стал наглее, чем когда-либо; он даже начал насмешничать, издеваться; он сказал мне, что я буду иметь успех у женщин. Я дрожал от боязни, не выдал ли я себя чем-нибудь, и, уже считая себя ее сообщником, старался окутать тайной свое влечение, в чем раньше не было большой нужды. Это заставило меня быть более осмотрительным в своих поисках удобного случая побыть с ней наедине, и, желая, чтобы этим свиданьям не угрожала никакая опасность, я не мог найти для них подходящей минуты.

Вот еще одно романтическое сумасбродство, от которого я никогда не мог излечиться; вместе с моей природной застенчивостью оно привело к тому, что предсказания приказчика не оправдались. Я любил слишком искренне, смею сказать – слишком глубоко, для того чтобы мне было легко стать счастливым. Никогда еще страсти не были так сильны и так чисты, никогда любовь не была более нежной, более искренней, более бескорыстной. Я способен тысячу раз пожертвовать своим счастьем ради счастья любимой женщины; ее добрая слава для меня дороже жизни, и ни за какие чувственные удовольствия не согласился бы я хоть на мгновение нарушить ее покой. Вследствие этого я вносил столько таинственности, столько заботливых предосторожностей во все свои начинания, что никогда ни одно из них не могло удалиться. Незначительность моего успеха у женщин всегда объяснялась тем, что я слишком их любил.

Возвращаясь к моему флейтисту, нужно сказать, что он вел себя самым странным образом. Этот предатель становился все невыносимее, но внешне проявлял все больше снисходительности. С первых же дней, как его хозяйка почувствовала ко мне расположение, она стала думать о том, чтобы сделать меня полезным в магазине. Я довольно порядочно знал арифметику; она предложила приказчику научить меня вести торговые книги, но этот нелюбимый отнесся к ее предложению очень плохо, быть может, боясь, что меня впоследствии возьмут на его место. Таким образом, все мои обязанности, кроме работы резцом, состояли в переписке кое-каких счетов, записок, ведении конторских книг и в переводе некоторых коммерческих писем с итальянского на французский. Но вдруг мой молодец решил вернуться к предложению, ранее отвергнутому; он обещал научить меня двойной бухгалтерии и довести мои познания в ней до того, чтобы я мог предложить свои услуги г-ну Базилью, когда тот вернется. В его тоне, в выражении его лица было что-то фальшивое, хитрое, ироническое, не внушавшее мне доверия. Г-жа Базиль, не дожидаясь моего ответа, сказала ему сухо, что я очень обязан ему за его предложение, но она надеется, что судьба будет мне наконец бла-



гоприятствовать по моим заслугам и что было бы очень жаль, если б, обладая таким умом, я остался простым приказчиком.

Она много раз говорила мне, что хочет меня познакомить с одним человеком, который может быть мне полезным. Она была достаточно благоразумна, чтобы понять, что нам пора расстаться. Наше немое объяснение произошло в четверг; в воскресенье она давала обед, на котором, кроме меня, присутствовал монах-якобинец<sup>{49}</sup> приятной наружности; я был ему представлен. Монах был со мной очень приветлив, поздравил меня с обращением и коснулся некоторых событий моей жизни, из чего я понял, что г-жа Базиль ему все подробно рассказала. Слегка потрепав меня по щеке, он велел мне быть благоразумным, не падать духом и пригласил к себе, чтобы поговорить на свободе. По тому уважению, с каким все к нему относились, я заключил, что он был лицом значительным, а из его отеческого тона в разговоре с г-жой Базиль было ясно, что он ее духовник. Я помню также очень хорошо, что его благопристойная непринужденность сопровождалась знаками уважения и даже почтения к его духовной дочери, но тогда они произвели на меня гораздо меньшее впечатление, чем производят теперь. Будь я поумнее, как бы я гордился тем, что мог внушить чувство молодой женщине, уважаемой своим духовником!

Стол оказался недостаточно велик в сравнении с количеством приглашенных; понадобился еще маленький, за которым я очутился в приятном уединении с господином приказчиком. В смысле внимания и угощения я ничего от этого не потерял: на маленький стол послалось немало блюд, предназначавшихся, конечно, не для приказчика. До поры до времени все шло прекрасно; женщины были очень веселы, мужчины – очень любезны; г-жа Базиль угощала гостей с обворожительной грацией. Посреди обеда у подъезда слышится шум оставляющегося экипажа; кто-то поднимается по лестнице, – это г-н Базиль. Я вижу его, словно он только что вошел, в ярко-красной одежде с золотыми пуговицами, – цвет, который я с того дня ненавижу. Г-н Базиль был высокий красивый мужчина, очень представительный. Он шумно входит – с видом человека, застающего всех врасплох, хотя там собрались только друзья. Жена бросается ему на шею, берет его за руки, осыпает его ласками, которые он принимает, но оставляет без ответа. Он раскланивается со всей компанией; ему подают прибор; он садится и ест. Едва зашел разговор о его путешествии, как он, бросив взгляд на маленький столик, спрашивает строгим тоном, что это за мальчик, которого он видит там. Г-жа Базиль отвечает ему совершенно простодушно. Он спрашивает, не живу ли я в этом доме. Ему говорят, что нет. «Почему же нет? – продолжает он грубо. – Раз он проводит здесь целые дни, почему бы ему не оставаться и на ночь?» Тут взял слово монах; после веской и правдивой похвалы г-же Базиль он похвалил в кратких выражениях и меня, прибавив, что г-н Базиль не только не должен порицать свою жену за ее благочестивое милосердие, но должен был бы сам поскорее принять в нем участие, так как ничего предосудительного во всем этом нет. Муж отвечал с раздражением, наполовину сдержанным из уважения к монаху, но достаточным для того, чтобы я мог понять, что у него имелись сведения на мой счет и что приказчик постарался услужить мне на свой манер.

Только встали из-за стола, ко мне подошел приказчик, посланный хозяином, и, торжествуя, заявил мне от его имени, чтобы я немедленно убирался и чтобы ноги моей здесь больше не было. Он постарался приправить это сообщение всем, что могло сделать его возможно более оскорбительным и жестоким. Я вышел, не говоря ни слова, с сокрушенным сердцем, страдая не столько из-за того, что покидал эту милую женщину, сколько потому, что оставлял ее жертвой грубости ее мужа. Конечно, он был прав, не желая, чтобы она ему изменила; но хотя она была женщиной разумной и хорошего рода, она родилась итальянкой, – значит, была самолюбива и мстительна, и, мне кажется, он был не прав, применяя по отношению к ней меры, способные скорее всего навлечь то самое несчастье, которого он опасался.

Таков был успех моего первого приключения. Я сделал попытку пройтись раза два-три по улице, чтобы хоть раз еще взглянуть на ту, о которой не переставало тосковать мое сердце; но вместо нее я увидел только ее мужа да бдительного приказчика, который, заметив меня, погрозил лавочным «локтем»<sup>{50}</sup>, – жест более выразительный, чем привлекательный. Видя, что за мной так пристально следят, я потерял мужество и уже больше не показывался там. Мне хотелось повидать покровителя, которого она мне отыскала. К несчастью, я не знал его имени. Много раз я понапрасну бродил вокруг монастыря, стараясь встретить его. Наконец другие события вытеснили из моей памяти прелестные воспоминания о г-же Базиль, и вскоре я так основательно ее забыл, что, оставаясь таким же простаком и новичком, как прежде, даже не соблазнялся хорошенькими женщинами.

Между тем ее щедрость немного обновила мой маленький гардероб, – правда, очень скромно, потому что она делала это с осторожностью благоразумной женщины, которая думает больше об опрятности, чем о нарядах, и желает избавиться от лишней, а не дать возможность блистать. Одежда, принесенная мною из Женевы, была еще довольно прилична, и ее вполне можно было носить; г-жа Базиль прибавила к ней только шляпу и немного белья. У меня совсем не было манжет; она не захотела подарить их мне, хотя у меня было большое желание иметь их. Она ограничилась тем, что дала мне возможность содержать себя в чистоте, и пока я был у нее, мне не надо было напоминать об этом.

Через несколько дней после катастрофы моя квартирная хозяйка, относившаяся ко мне, как я уже говорил, дружелюбно, сказала, что, кажется, нашла мне место и что одна знатная дама желает меня видеть. При этих словах я вообразил, что меня ожидают приключения в высшем свете, так как я все время только о них и мечтал. Но приключение оказалось не столь блестящим, как я себе представлял. Я отправился к даме со слугой, который говорил ей обо мне. Она расспросила меня, осмотрела: я понравился ей и тотчас же был принят к ней на службу, но совсем не в качестве фаворита, а в качестве лакея. Меня одели в ливрею того же цвета, какой носили все ее слуги, – разница состояла лишь в том, что у них были шнуры на плечах, у меня же их не было, а так как ливрея в этом доме была без галунов, она очень походила на городскую одежду. Вот неожиданное завершение всех моих великих надежд!

Графиня де Верселис, к которой я поступил на службу, была бездетная вдова; ее муж был пьемонтец; ее же я всегда считал савояркой, потому что никак не мог представить, чтобы пьемонтка могла так хорошо и с таким чистым произношением говорить по-французски. Она была средних лет, с очень благородным лицом, прекрасно образованна, любила французскую литературу и хорошо ее знала. Она много писала и всегда по-французски. Ее письма имели тот же склад и были почти так же изящны, как письма г-жи де Севинье;<sup>{51}</sup> некоторые из них можно было бы даже принять за письма последней. Главное мое занятие – и оно мне нравилось – состояло в том, чтобы писать письма под ее диктовку, так как рак груди, доставлявший ей много страданий, не позволял ей писать самой.

Г-жа де Верселис отличалась не только умом: у нее была возвышенная и мужественная душа. Я был свидетелем ее тяжелой болезни; я видел, как она страдала и умирала, никогда не выказывая ни минуты слабости, – казалось, без малейших усилий подавляя боль, никогда не выходя из своей роли женщины и не подозревая, что она поступает в этом, как философ; слово это тогда еще не было в моде и даже не было известно ей в том смысле, в каком его употребляют теперь. Сила характера граничила у нее иногда с черствостью. Мне всегда казалось, что по отношению к окружающим она так же мало чувствительна, как и к себе самой; и когда она делала добро несчастным, то поступала так скорее потому, что просто считала это хорошим поступком, чем из истинного сострадания. Я отчасти испытал на себе эту бесчувственность в продолжение трех месяцев, проведенных у нее. Было бы вполне естественным принять участие в молодом человеке, подающем некоторые надежды и находящемся постоянно у нее на глазах; и, чувствуя приближение смерти, она могла бы подумать, что

после нее ему будет необходима помощь и поддержка; но потому ли, что она считала меня недостойным особенного внимания, потому ли, что люди, осаждавшие ее, не позволяли ей думать о ком-нибудь другом, кроме них самих, – она ничего не сделала для меня.

Однако я очень хорошо помню, что она выказывала некоторое желание лучше узнать меня. Иногда она меня расспрашивала; ей очень хотелось, чтобы я показал ей мои письма к г-же де Варане и дал бы ей отчет о своих чувствах. Но она плохо бралась за дело: желая узнать мои чувства, никогда не показывала мне своих. Мое сердце всегда радо было излиться, лишь бы оно чувствовало, что изливается в другое сердце. Сухие и холодные вопросы, без малейшего признака одобрения или порицания моих ответов, не внушали мне доверия. Когда ничто не показывает мне, нравится или не нравится моя болтовня, я тревожусь и стараюсь тогда не столько высказать то, что думаю, сколько – не сказать ничего такого, что могло бы мне повредить. С тех пор я заметил, что эта сухая манера расспрашивать людей, чтобы узнать их, – обычная слабость женщин, которые чванятся остротой своего ума. Они воображают, что, не обнаруживая своих чувств, лучше поймут ваши; но они не замечают, что таким образом лишают собеседника смелости открыть свои чувства. Когда человека расспрашивают, он уже настораживается из-за этого одного, а если он замечает, что, не питая к нему искреннего интереса, хотят только заставить его болтать, он или говорит неправду, или молчит, или же с удвоенным вниманием следит за собой и лучше согласен прослыть дураком, нежели стать простодушной жертвой чужого любопытства. Этот способ читать в сердце другого, стараясь в то же время скрыть свои собственные чувства, в конце концов всегда оказывается негодным.

Г-жа де Верселис никогда не сказала мне ни одного слова, в котором чувствовалась бы приязнь, жалость, благожелательность. Она расспрашивала меня холодно, я отвечал сдержанно. В моих ответах было столько нерешительности, что они должны были казаться мало интересными и наскучить ей. Под конец она уже не задавала мне вопросов и говорила со мной только о том, что касалось моей должности. Она судила меня не столько по тому, чем я был, сколько по тому, чем она меня сделала: видя во мне только лакея, она лишала меня возможности показать себя чем-либо другим.

Думаю, что именно с этих пор начал я узнавать хитрую игру тайных интриг, которые преследовали меня всю жизнь и внушали мне естественное отвращение к порядку вещей, порождающему их. Так как у г-жи де Верселис детей не было, наследником ее был граф де Ларок, ее племянник, который старательно ее ублажал. Кроме того, и главные слуги, видя, что конец ее близок, старались напомнить о себе; словом, вокруг нее толпилось столько услужливых людей, что ей некогда было думать обо мне. Во главе ее дома стоял некий г-н Лоренци, человек очень ловкий, а жена его, еще более ловкая, сумела так втереться в доверие своей госпожи, что была у нее скорее на положении подруги, чем служанки. Она устроила к ней в горничные свою племянницу, мадемуазель Понталь, тонкую штучку, разыгрывавшую из себя компаньонку и так хорошо помогавшую тетушке обхаживать свою госпожу, что г-жа Верселис смотрела на все только их глазами и действовала только их руками. Я не удостоился чести попасть в милость к этим трем особам: я их слушался, но не прислуживал им; я не представлял себе, чтобы, кроме службы нашей общей госпоже, я должен был быть еще лакеем ее лакеев. Кроме того, я принадлежал к тому сорту людей, который их тревожил. Они прекрасно видели, что я не на своем месте, и очень боялись, как бы их госпожа этого тоже не заметила и как бы из-за того, что она захочет поставить меня в соответствующее положение, не уменьшилась их собственная доля, ибо такие жадные люди не могут быть справедливыми и смотрят на все, завещанное другим, как на отнятое от их собственного добра. Поэтому они объединились, чтобы убрать меня с ее глаз. Она любила писать письма, – в ее состоянии это служило ей развлечением; они отняли у нее это занятие, убедив ее с помощью доктора, что оно утомляет ее. Под предлогом, что я не умею прислуживать, к ней приставили вместо меня

двух огромных парней – носильщиков портшеза. В конце концов они все так хорошо устроили, что к тому времени, как она стала составлять завещание, я уже неделю не входил к ней в комнату. Правда, после этого я стал входить к ней, как прежде, и при этом был даже усерднее других, потому что мучения бедной женщины разрывали мне сердце; твердость, с которой она их переносила, делала ее в моих глазах достойной глубочайшего уважения и любви; и в ее комнате я пролил немало искренних слез, не замеченных ни ею, ни кем-либо другим.

Наконец мы лишились ее. Я видел, как она умирала. Жизнь ее была жизнью женщины умной и здравомыслящей; смерть ее была смертью мудреца. Могу сказать, что она сделала католическую религию для меня привлекательной благодаря той ясности души, с какой она исполняла все обряды, без небрежности и без аффектации. От природы она была серьезной. В конце болезни у нее появилась веселость, столь ровная, что она не могла быть притворной, и, несомненно, служила со стороны самого разума естественным противовесом тяжелой безотрадности ее положения. Она оставалась в постели только последние два дня, не переставая все время спокойно беседовать со всеми окружающими. Наконец, уже умолкнув и находясь в агонии, она издала громкий звук. «Отлично! – сказала она, обернувшись. – Женщина, способная на это, еще не умерла». Это были ее последние слова.

Она завещала своим низшим слугам их жалованье за целый год; но так как я не состоял в штате ее дома, то не получил ничего. Впрочем, граф де Ларок дал мне тридцать ливров и оставил мне новое платье, которое я носил и которое г-н Лоренци хотел у меня отнять. Граф обещал даже устроить меня на место и разрешил мне прийти к нему. Я был у него два-три раза, но мне не удалось с ним поговорить. Меня нетрудно было отвадить, и больше я туда уже не возвращался. Читатель скоро увидит, что я не был не прав.

О, если б это было все, что я должен рассказать о своем пребывании у г-жи де Верселлис! Но, хотя по видимости мое положение осталось неизменным, я вышел из ее дома не таким, каким вошел в него. Я вынес оттуда долгое воспоминание о преступлении и невыносимое бремя угрызений совести, которое и по истечении сорока лет все еще тяготит меня; и мое горькое раскаяние не только не уменьшается, а даже увеличивается, по мере того как я старею. Кто бы мог поверить, что проступок ребенка повлечет за собой такие ужасные последствия. Из-за этих более чем вероятных последствий и не может утешиться мое сердце. Я, может быть, погубил, ввергнув в позор и нищету, девушку, милую, честную, достойную уважения, которая, конечно, была гораздо лучше меня.

Когда хозяйство расстраивается, трудно, чтобы это не вызвало беспорядка в доме и чтобы какие-нибудь вещи при этом не потерялись; однако честность слуг и бдительность г-на и г-жи Лоренци были таковы, что все имущество по описи оказалось налицо. Только у м-ль Понталь пропала маленькая лента, розовая с серебром, уже поношенная. У меня была возможность взять много вещей гораздо лучше, но только эта лента соблазнила меня, – я украл ее; а так как я не очень ее прятал, у меня ее скоро нашли. Стали добиваться, где я ее взял. Я смущаюсь, что-то бормочу и, наконец, говорю, краснея, что мне дала ее Марион. Это была юная уроженка Мориенны,<sup>{52}</sup> г-жа де Верселлис сделала ее кухаркой, когда перестала давать званые обеды и уволила свою прежнюю повариху, так как стала нуждаться больше в хороших бульонах, чем в тонких рагу. Марион была не только красива, – она отличалась таким свежим цветом лица, какой можно встретить лишь в горах; и главное, у нее был такой скромный и кроткий вид, что, увидев ее, нельзя было не полюбить; к тому же это была добрая девушка, благонравная и неподкупно преданная. Оттого-то все и были удивлены, когда я назвал ее. Мне доверяли гораздо меньше, чем ей, и решили, что необходимо проверить, кто из нас двоих мошенник. Ее позвали. Собралось много народу, присутствовал граф де Ларок. Марион приходит, ей показывают ленту, я бесстыдно обвиняю ее; она озадачена, молчит, бросает на меня взгляд, способный обезоружить демонов, но он не подействовал на мое варварское сердце. Наконец она отвергает обвинение, отвергает уверенно, но без горячно-

сти, обращается ко мне, убеждает меня прийти в себя, не бесчестить невинной девушки, никогда не сделавшей мне ничего плохого; но я с дьявольским бесстыдством подтверждаю свое обвинение и прямо в глаза говорю ей, что ленту дала мне она. Бедная девушка залилась слезами и сказала мне только: «Ах, Руссо! Я думала, вы добрый. Вы делаете меня очень несчастной, но я не хотела бы быть на вашем месте». Вот и все. Она продолжала защищаться просто и твердо, не позволяя себе, однако, ни малейшей резкости против меня. Эта сдержанность, при сравнении с моим решительным тоном, повредила ей. Казалось невозможным допустить, с одной стороны, такую дьявольскую дерзость, а с другой – такую ангельскую кротость. К окончательному решению так и не пришли, но общее мнение склонялось в мою пользу. Среди царившей суматохи не нашли времени вникнуть в дело поглубже, и, отпуская нас обоих, граф де Ларок сказал только, что совесть виновного отомстит за невинного. Его предсказание не осталось тщетным: не проходит дня, чтоб оно не сбывалось.

Не знаю, что случилось с жертвой моей клеветы, но маловероятно, чтобы после этого ей легко было найти хорошее место. На ней осталось обвинение, во всех отношениях тяжелое для ее чести. Воровство было пустячное, но все же это было воровство, и что хуже всего – совершенное с целью соблазнить юношу, – наконец, ложь и запираительство не позволяли ожидать ничего хорошего от той, в которой соединилось столько пороков. Нищету и заброшенность я не считаю еще самой большой опасностью, в которую я вверг эту девушку. Кто знает, куда в ее возрасте может завести отчаяние опороченной невинности! И если невыносимы угрызения совести от сознания, что я мог сделать ее несчастной, то пусть подумают, насколько ужаснее мысль, что, может быть, по моей вине она стала даже хуже меня!

Жестокое воспоминание порой так волнует и мучает меня, что во время своих бессонниц я вижу, как бедная девушка приходит и упрекает меня в этом преступлении, как будто оно было совершено только вчера. Пока я жил без тревог, это воспоминание меньше меня мучило, но среди жизненных бурь оно отнимает у меня самое сладкое утешение невинно преследуемых: оно заставляет меня глубоко почувствовать то, о чем я, кажется, уже говорил в одном из своих произведений, – что угрызения совести дремлют в дни благополучия и пробуждаются в несчастье. И все же я никогда не мог решиться облегчить свое сердце признанием на груди друга. Самая тесная близость никогда не могла заставить меня сделать это признание кому бы то ни было, даже г-же де Варане. Все, на что я мог решиться, это сказать, что на моей совести лежит ужасный поступок; но я никогда не говорил, в чем он состоит. Таким образом, тяжесть эта, ничем не облегченная, осталась на моей совести до сего дня, и я могу сказать, что желание как-нибудь освободиться от нее много содействовало принятому мною решению написать свою исповедь.

В данном случае я чистосердечно признался в своем преступлении, и, наверно, никто не скажет, что я стараюсь смягчить свою страшную вину. Но я не выполнил бы своей задачи, если бы не рассказал в то же время о своем внутреннем состоянии и если бы побоялся привести в свое оправдание то, что согласно с истиной. Никогда злоба не была так далека от меня, как в ту ужасную минуту; как ни странно, но это правда. Я обвинил эту несчастную девушку потому, что был расположен к ней. Я все думал о ней и ухватился за первое, что пришло мне на ум. Я приписал ей то, что сам собирался сделать; сказал, что она дала мне ленту, потому что у меня самого было намерение подарить эту ленту ей. Когда она вошла, мое сердце чуть не разорвалось на части, но присутствие стольких людей действовало на меня так сильно, что помешало моему раскаянию. Наказания я не очень боялся, – я боялся только стыда, но стыда боялся больше смерти, больше преступления, больше всего на свете. Мне хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю; неодолимый стыд победил все; стыд был единственной причиной моего бесстыдства, и чем преступнее я становился, тем больше боялся в этом признаться и тем бесстрашнее лгал. Я думал только о том, как будет ужасно, если меня уличат и публично, в глаза, назовут вором, обманщиком, клеветником. Всепогло-

щающий страх заглушил во мне всякое другое чувство. Если бы мне дали прийти в себя, я непременно сознался бы во всем. Если бы г-н де Ларок отвел меня в сторону и сказал: «Не губите эту бедную девушку; если вы виноваты, признайтесь», – я тотчас бросился бы к его ногам, совершенно в этом уверен. Но меня только запугивали, когда надо было ободрить. Надо принять в расчет и мои годы, ведь я только что вышел из детского возраста, вернее – еще пребывал в нем. Настоящая низость в юности еще преступнее, чем в зрелом возрасте, зато слабость, наоборот, гораздо более извинительна, а мой поступок, в сущности, не был ничем иным. Поэтому при воспоминании о нем меня не столько мучает то дурное, что заключалось в самом поступке, сколько те печальные последствия, которые он должен был повлечь за собой. Он даже оказал на меня благотворное влияние, так как уберег на всю остальную жизнь от всякого преступления благодаря ужасному воспоминанию о том единственном преступлении, которое я совершил, – и мне кажется, мое отвращение ко лжи зависит в значительной степени от стыда, что я мог однажды так гнусно солгать. Если это преступление возможно искупить, то смею думать, что я уже искупил его несчастьями, удручающими конец моей жизни, и сорока годами честности и прямоты в трудных обстоятельствах. У бедной Марион нашлось много мстителей на этом свете, и, как бы ни была велика моя вина перед ней, я не боюсь, что унесу эту вину с собой. Вот что я считал нужным сказать по поводу этого случая. Да будет мне позволено никогда больше к нему не возвращаться.

## Книга третья (1728–1730)

Покинув дом г-жи де Верселис приблизительно в том же положении, в каком я находился, поступая к ней, я вернулся к своей прежней квартирной хозяйке и прожил у нее пять или шесть недель, в продолжение которых здоровье, молодость и праздность часто делали то, что мой темперамент не давал мне покоя. Мной овладело беспокойство, я стал рассеян, мечтателен; я плакал, вздыхал, жаждал счастья, о котором не имел понятия, но отсутствие которого воспринимал как лишение. Это состояние невозможно описать, и даже мало кто может его себе представить, потому что большинство заранее расходует этот избыток жизненных сил, одновременно мучительный и сладкий, который, опьяняя желанием, заставляет предвкушать наслаждение. Воспламенная кровь непрестанно наполняла мой мозг образами девушек и женщин, но, не понимая их истинного назначения, я заставлял их служить моим странным фантазиям, так как не умел придумать ничего другого; и эти представления держали мою чувственность в постоянном томительном возбуждении, но, к счастью, не научили меня, как избавляться от него. Я отдал бы жизнь, чтобы побыть четверть часа с какой-нибудь мадемуазель Готон. Однако миновало время, когда детские игры возникали непринужденно, будто сами собой. Стыд, спутник сознания зла, пришел вместе с годами; он увеличил мою природную застенчивость, сделав ее почти неодолимой; и как тогда, так и впоследствии я позволял себе обратиться к женщине с нескромным предложением – даже будучи уверен, что это женщина не особенно строгих правил и я не встречу отказа, – только в том случае, если она вынуждала меня к тому своими авансами.

Мое возбуждение достигло таких пределов, что, не будучи в состоянии удовлетворить свои желания, я разжигал их самыми нелепыми выходками. Я блуждал по темным аллеям, в скрытых уединенных местах, откуда мог издали показаться особам другого пола в том виде, в каком хотел бы быть возле них. Их глазам представлялось зрелище не непристойное, – я даже не помышлял об этом, – а просто смешное; глупое удовольствие, которое я испытывал, выставляя им на глаза этот предмет, невозможно описать. От этого был только один шаг до желанного наказания, и я не сомневаюсь, что в конце концов какая-нибудь решительная женщина, проходя мимо, доставила бы мне это удовольствие, если б у меня хватило смелости подождать. Одна из моих проделок кончилась катастрофой, почти столь же комичной, но не столь приятной для меня.

Как-то раз я устроился в глубине двора, где был колодец, к которому служанки ходили за водой. Там был небольшой спуск, несколько проходов шли от него к погребам. Я исследовал в потемках эти длинные подземные аллеи и решил, что они не кончаются здесь и что, если меня увидят и застигнут, я найду в них надежное убежище. В расчете на это я и устроил девушкам, направлявшимся к колодцу, зрелище скорее смешное, чем соблазнительное. Более умные притворились, что ничего не видят; другие принялись хохотать; третьи сочли себя оскорбленными и подняли шум. Я бросился в свое убежище – за мной погнались. Я услышал мужской голос, на что никак не рассчитывал, и это меня очень испугало. Я углубился в подземелье, рискуя заблудиться в нем; шум, женские голоса, голос мужчины по-прежнему следовали за мной. Я рассчитывал на темноту, а увидел свет. Я задрожал и бросился вперед. Дорогу преграждала стена; бежать дальше было невозможно, оставалось только ждать на месте своей судьбы. В одно мгновение я был настигнут и схвачен высоким мужчиной, с длинными усами, в широкополой шляпе, при большой сабле; его сопровождали четыре или пять старух, каждая была вооружена палкой от половой щетки; позади я заметил маленькую плутовку, выдавшую меня, – ей, по всей вероятности, хотелось увидеть мое лицо.

Человек при сабле, схватив меня за руку, грубо спросил, что я здесь делаю. Легко понять, что у меня не было подготовленного ответа. Однако я собрался с духом и, извернувшись в эту критическую минуту, сочинил удачную романтическую историю. Я молил его сжалиться над моим возрастом и положением, сказал, что я молодой иностранец знатного происхождения, но с расстроенным рассудком, что я убежал из родительского дома, потому что меня держали взаперти, что я погибну, если он выдаст меня, но что, если он отпустит меня, я, быть может, смогу когда-нибудь отплатить ему за его доброту. Против всякого ожидания, моя речь и мой вид возымели действие: страшный человек был тронут и, сделав мне довольно краткое внушение, спокойно отпустил меня, не задавая дальнейших вопросов. По тому выражению, с каким девушка и старухи наблюдали мой уход, я заключил, что мужчина, который так меня напугал, оказался мне очень полезным, ибо от них я не отделался бы так дешево. Я слышал, как они что-то бормотали, но меня это не тревожило: я был ловок, силен и не сомневался, что сумею справиться с их оружием и с ними самими, лишь бы не участвовал в деле мужчины и его сабля.

Через несколько дней, проходя по улице с молодым аббатом, моим соседом, я столкнулся нос к носу с человеком при сабле. Он узнал меня и насмешливо произнес, передразнивая меня: «Я принц, я принц! а я – простофиля! Но пусть его светлость не возвращается сюда». Он ничего не прибавил к этому, и я удалился, опустив голову и в душе благодаря его за скромность. Очевидно, проклятые старухи пристыдили его за легковерие. Как бы то ни было, он хоть и пьемонтец, а был добрый человек, и я всегда вспоминаю о нем с чувством благодарности: ведь случай был так забавен, что всякий другой на его месте из одного желания посмешить нанес бы мне оскорбление. Это происшествие, хотя и не имело последствий, которых я мог бы опасаться, тем не менее надолго сделало меня благоразумным.

Живя у г-жи Верселис, я приобрел знакомства, которые поддерживал, в надежде, что они окажутся мне полезными. Время от времени я навещал савойского аббата г-на Гема, наставника детей графа Меллареда. Он был еще молод и мало известен, но отличался здравым смыслом, добросовестностью, познаниями и был одним из самых честных людей, каких я знал. Он не оказал мне помощи в том деле, ради которого я приходил к нему; он имел слишком мало веса, чтобы устроить меня на место; но я нашел у него нечто более ценное и пригодившееся мне на всю жизнь: уроки здоровой морали и правила прямоты. В последовательной смене моих вкусов и моих представлений о жизни я то подымался слишком высоко, то опускался слишком низко, – был Ахиллом или Терситом<sup>{53}</sup>, героем или негодяем. Г-н Гем постарался поставить меня на место и показать мне меня самого, не щадя и не обескураживая. Он с большой похвалой отзывался о моих достоинствах и способностях, но прибавил, что они сами порождают препятствия, которые помешают мне извлечь из них пользу, так что, по его словам, они должны были не столько служить мне ступенями, чтобы подняться к благосостоянию, сколько средством обойтись без него. Он нарисовал мне правдивую картину человеческой жизни, о которой я имел превратное представление; от него я узнал, что даже при самых неблагоприятных обстоятельствах человек мудрый всегда имеет возможность стремиться к счастью и пользоваться всяким попутным ветром, чтоб достичь его; что нет истинного счастья без мудрости и что мудрость доступна людям во всяком состоянии. Он сильно поколебал мое преклонение перед властью имущими, доказав мне, что те, кто повелевает другими, не мудрее и не счастливее их. Он высказал мысль, которая часто вспоминалась мне впоследствии: «Если б люди могли читать в сердцах друг друга, было бы больше желающих спуститься, чем жаждущих возвыситься». Эта мысль, поразительно правдивая и ничуть не преувеличенная, часто помогала мне в моей жизни, заставляя спокойно оставаться на своем месте. Аббат Гем дал мне первые истинные понятия об истинной чести, которую прежде мой напыщенный ум постигал лишь в ее крайних выражениях. Он дал мне понять, что общество не ценит высоких доблестей, что, поднимаясь слишком



высоко, часто рискуешь упасть, что постоянное добросовестное исполнение мелких обязанностей требует не меньшей силы воли, чем героические подвиги, и может принести больше пользы для честной и счастливой жизни и что несравненно лучше постоянно пользоваться уважением окружающих, чем изредка внушать им удивление.

Чтобы определить обязанности человека, нам поневоле пришлось подняться до их основы. К тому же только что сделанный мною шаг, последствием которого было мое настоящее положение, побуждал нас говорить о религии. Нетрудно заметить, что честный г-н Гем в значительной мере послужил оригиналом савойского викария<sup>{54}</sup>. Правда, в некоторых пунктах своих рассуждений он выражался не столь прямо, так как благоразумие вынуждало его к известной осторожности, но в остальном его чувства, его правила, его мнения – все, вплоть до его совета мне вернуться на родину, было таким, как я впоследствии поведал читателю. Поэтому, не распространяясь о наших разговорах, с сутью которых может ознакомиться всякий, скажу, что его мудрые уроки, вначале не оказавшие на меня влияния, заронили в мое сердце семена добродетели и религии, которые никогда не погибли и, чтобы дать росток, ждали только ухода более дорогой мне руки.

Хотя в то время мое обращение в новую веру было не особенно глубоким, тем не менее я был тронут. Далекий от того, чтобы скучать во время этих бесед, я полюбил их за ясность, простоту и особенно за тот сердечный интерес, которым они, я чувствовал, были проникнуты. У меня любящее сердце, и я всегда привязывался к людям не столько за добро, которое они мне сделали, сколько за то добро, которого они мне желали; и в этом отношении мое чутье никогда не обманывает меня. Поэтому-то я и привязался к аббату Гему, я стал, так сказать, вторым его учеником; и тогда это принесло мне то неоценимое благо, что отвратило от наклонности к пороку, к которому влекла меня праздность.

Однажды, когда я меньше всего думал об этом, за мной прислали от графа де Ларока. Мне надоело ходить к нему и не иметь возможности говорить с ним; я перестал у него бывать, решив, что он забыл обо мне или что я произвел на него плохое впечатление. Я ошибался. Он неоднократно был свидетелем того, с каким удовольствием я исполнял свой долг по отношению к его тетке; он даже говорил с ней на эту тему и напомнил мне об этом, когда сам я уже перестал об этом думать. Он хорошо принял меня и сказал, что, не желая тешить меня неопределенными обещаниями, старался подыскать мне место, что это удалось ему, что он ставит меня на правильный путь и что остальное зависит от меня самого; что дом, в который он меня устроил, влиятелен и уважаем, что я не буду нуждаться в других покровителях, чтобы выдвинуться, и что хотя сначала я буду скромным слугой, каким был и раньше, но могу быть уверен, что, если по моим чувствам и поведению меня сочтут выше этого состояния, меня не оставят в нем. Конец этой речи жестоко разрушил блестящие надежды, возбужденные во мне ее началом. «Как! Опять лакей!» – подумал я с горькой досадой, которую, впрочем, вскоре изгладил моя уверенность в себе. Я чувствовал, что я не создан для такой должности, и не опасался, что меня в ней оставят.

Он отвел меня к графу де Гувону, первому конюшему королевы и главе славного дома Соляр. Благородная наружность этого почтенного старца придала особую трогательность его ласковому приему. Он расспрашивал меня с интересом, и я чистосердечно отвечал ему. Он сказал графу де Лароку, что у меня приятная физиономия, которая говорит об уме, что я, по-видимому, действительно умен, но что этого еще недостаточно и что ему надо ознакомиться с остальными моими качествами. Потом, повернувшись ко мне, он сказал: «Дитя мое, почти во всех делах самое трудное – начало; для вас, однако, оно не будет слишком трудным. Будьте благоразумны и постарайтесь понравиться здесь всем, – вот пока ваша единственная обязанность; главное, не падайте духом: о вас хотят позаботиться». Тотчас же он прошел к маркизе де Брей, своей невестке, и представил меня ей, а потом аббату де Гувону, своему сыну. Это начало показалось мне добрым предзнаменованием. Я был уже настолько опытен,

чтобы понять, что подобного приема не оказывают простому лакею. И действительно, со мной обращались не как со слугой. Меня кормили не в людской, на меня не надели ливреи, и, когда молодой повеса граф де Фавриа захотел, чтобы я стоял на запятках его кареты, его дед запретил мне стоять на запятках какой бы то ни было кареты и сопровождать кого-либо при выезде. Тем не менее я прислуживал за обедом и в стенах дома нес почти все обязанности лакея, но исполнял их в известном смысле свободно и не был приставлен специально к кому-либо.

Если не считать писем, которые мне иногда диктовали, и картинок, которые граф де Фавриа заставлял меня вырезать, я располагал почти всем своим временем. Это испытание, которого я не замечал, было, без сомнения, очень опасно; оно было даже не очень человечно, так как крайняя праздность могла развить во мне пороки, которых у меня без нее не было бы.

Но, к счастью, этого не случилось. Наставления г-на Тема западали мне в сердце и так мне нравились, что я иногда убегал, чтобы снова послушать их. Думаю, что те, кто видел, как я иногда потихоньку выходил из дому, вовсе не догадывались, куда я шел. Ничто не могло быть благоразумнее тех советов, которые г-н Гем давал мне насчет моего поведения. Начал я великолепно, был так услужлив, внимателен, усерден, что очаровал всех. Аббат Гем мудро предостерег меня, чтобы я умерил свой первоначальный пыл, чтобы он не ослабел и на это не обратили бы внимания. «Ваш дебют, – сказал он мне, – мерило того, что будут требовать от вас; расходуйте свои силы осторожнее, чтобы впоследствии сделать больше, но остерегайтесь когда-либо делать меньше».

Так как никто не постарался удостовериться в моих маленьких талантах и предполагалось, что у меня нет иных, кроме тех, которые дала мне природа, то, вопреки обещаниям графа Гувона, никто, казалось, не думал о том, чтобы использовать меня лучше. Помехой послужили разные дела, и обо мне почти забыли. Маркиз де Брей, сын графа де Гувона, был тогда посланником в Вене. При венском дворе произошли перемены, коснувшиеся и семьи графа, и несколько недель все были в таком волнении, что им было не до меня. Между тем рвение мое до тех пор почти не ослабевало.

Одно обстоятельство оказало на меня и хорошее, и дурное влияние, отдалив меня от всяких развлечений вне дома и вместе с тем заставив относиться несколько более небрежно к исполнению своих обязанностей.

Мадемуазель де Брей была приблизительно моего возраста, хорошо сложена, довольно красива, с очень белой кожей и очень черными волосами; несмотря на то что она была брюнеткой, в выражении ее лица была характерная для блондинок нежность, перед которой мое сердце никогда не могло устоять. Придворный туалет, который так идет молодым женщинам, обрисовывал ее красивую талию, открывал грудь и плечи, а так как двор был тогда в трауре, черное платье еще более оттеняло ослепительную белизну ее лица. Скажут, что не дело слуги замечать такие вещи. Конечно, это было неправильно; но тем не менее я замечал их, да и не я один. Дворецкий и другие слуги говорили иногда об этом за столом с грубостью, заставлявшей меня жестоко страдать. Впрочем, я не настолько потерял голову, чтобы влюбиться всерьез. Я не забывался, знал свое место и не давал воли своим желаньям. Я любил смотреть на м-ль де Брей, ловить мимоходом сказанные ею слова, обличавшие ум, чувство, благородный образ мыслей; мое честолюбие ограничивалось удовольствием услуживать ей и не выходило за пределы моих прав. За столом я искал случая ими воспользоваться. Если лакей на минуту отходил от ее стула, тотчас же можно было видеть меня на его месте; в остальное время я стоял против нее, старался прочесть в ее глазах, что она собирается потребовать, ловил мгновение, чтобы переменить ей тарелку. Чего бы я только не сделал, чтоб она соблаговолила приказать мне что-нибудь, взглянуть на меня, сказать мне хоть слово! Но напрасно! Мне пришлось пережить всю горечь сознания, что я ничто в ее глазах;

она даже не замечала моего присутствия. Но однажды, когда ее брат, иногда обращавшийся ко мне за столом, сказал мне что-то не особенно приятное, я ответил ему так тонко и так ловко, что она заметила это и вскинула на меня глаза. Этот мимолетный взгляд привел меня в восторг. На другой день мне представился случай заслужить ее взгляд во второй раз, и я этим воспользовался. В тот день давали парадный обед, во время которого я впервые с большим удивлением увидел, что дворецкий прислуживает в шляпе и со шпагой на боку. Случайно разговор коснулся девиза дома Соляр, красовавшегося на гобеленах вместе с гербом: «Tel fier qui ne tue pas». Так как пьемонтцы обычно не очень большие знатоки французского языка, кто-то нашел в этом девизе грамматическую ошибку, доказывая, что в слове «fier» не надо «t». Старый граф де Гувон собирался ответить, но, случайно бросив взгляд на меня, заметил, что я улыбаюсь, не смея ничего сказать. Он приказал мне говорить. Тогда я сказал, что не считаю «t» лишним, что «fier» старинное французское слово, которое происходит не от «férus» – надменный, угрожающий, а от глагола «ferit» – ударяет, ранит, и что, таким образом, по-моему, девиз означает не «тот угрожает», а «тот ранит, кто не убивает».

Все смотрели на меня и переглядывались, не говоря ни слова. В жизни не видано было подобного изумления. Но мне особенно польстило удовлетворение, которое я ясно заметил на лице м-ль де Брей. Эта гордая особа удостоила меня еще одного взгляда, который по меньшей мере стоил первого; потом, устремив глаза на своего дедушку, она, казалось, с некоторым нетерпением ждала должной похвалы мне, которую тот сейчас же воздал, так искренне и с таким довольным видом, что весь стол хором присоединился к нему. Краткая, но во всех отношениях восхитительная минута! Один из тех слишком редких моментов, когда обстоятельства снова располагаются в их естественном порядке и мстят за достоинство человека, униженное ударами судьбы. Через несколько минут м-ль де Брей опять подняла на меня глаза и попросила меня тоном застенчивым и любезным дать ей пить. Нетрудно понять, что я не заставил ее дожидаться, но, когда я приблизился к ней, меня охватила такая дрожь, что, слишком переполнив стакан, я пролил часть воды на тарелку и даже на платье м-ль де Брей. Брат ее легкомысленно спросил меня, отчего я так сильно дрожу. Я промолчал, но смутился еще больше, а м-ль де Брей покраснела до корней волос.

Тут конец роману, из чего явствует, что, как с г-жой Базиль, так и в остальных случаях, мои любовные увлечения никогда не увенчивались успехом. Напрасно прирадовался я к прихожей г-жи де Брей: я не получил ни одного знака внимания от ее дочери. Она выходила и входила, не глядя на меня, а я едва осмеливался поднять на нее глаза. Я был даже настолько глуп и неловок, что однажды, когда она, проходя, уронила перчатку, – вместо того чтобы броситься поднять эту перчатку, которую охотно осыпал бы поцелуями, я не осмелился тронуться с места и предоставил поднять ее толстому дураку лакею, которого охотно уничтожил бы. Мое смущение еще больше увеличивалось от сознания, что я не имел чести понравиться матери м-ль де Брей. Она не только ничего не приказывала мне, но даже всегда отказывалась от моих услуг и дважды, проходя вместе с дочерью и заметив меня в своей прихожей, очень сухо спросила, неужели у меня нет никакого дела. Пришлось отказаться от этой дорогой мне прихожей. Сначала мне было жаль, но потом появились другие отвлекающие дела, и я вскоре забыл о ней.

Пренебрежение, выказываемое мне г-жой де Брей, искупалось добротой ее свекра, наконец обратившего на меня внимание. Вечером после того обеда, о котором я говорил, он имел со мной получасовую беседу и, видимо, остался ею доволен; меня же она привела в восторг. Этот добрый старик хотя и не был так умен, как г-жа Верселис, зато обладал большей сердечностью, и у него я преуспел больше. Он велел мне обратиться к аббату Гувону, его сыну, чувствовавшему ко мне расположение, и сказал, что, если я сумею воспользоваться этим расположением, оно может мне пригодиться и помочь приобрести то, чего мне не хватает для осуществления видов, которые на меня имеют.

На другой день утром я полетел к г-ну аббату. Он принял меня не как слугу: посадив у камина, он начал меня ласково расспрашивать и вскоре убедился, что мое образование, хотя и начатое по многим предметам, не закончено ни по одному. Найдя, что я особенно плохо знаю латынь, он решил заняться со мной. Мы условились, что я буду приходить к нему каждое утро, и я явился на следующий же день. Таким образом, по странной игре случая, часто наблюдавшейся в моей жизни, я оказался одновременно и выше, и ниже своего истинного состояния – слугой и учеником в одном и том же доме, и, будучи в услужении, имел, однако, преподавателя, который по своему высокому происхождению должен был бы обучать только королевских детей.

Г-н аббат Гувон был младшим сыном и предназначался к епископству, а потому получил более основательное образование, чем обычно получают сыновья знатных людей. Он провел несколько лет в Сиенском университете, получил там довольно сильную дозу крускантизма<sup>{55}</sup> и стал в Турине приблизительно тем, чем был некогда в Париже аббат Данжо<sup>{56}</sup>.

Отвращение к теологии побудило его заняться изящной словесностью, что довольно обычно в Италии для тех, кто избирает карьеру прелата. Он читал многих поэтов, мог недурно писать итальянские и латинские стихи. Одним словом, он обладал достаточным вкусом, чтобы развить вкус и у меня, несколько очистив мою голову от той дребедени, которой я начинил ее. Но, оттого ли, что моя болтовня внушила ему преувеличенное представление о моих знаниях, или оттого, что он не мог перенести скуку элементарной латыни, он с самого начала забрался со мной слишком высоко и, едва заставив меня перевести несколько басен Федра<sup>{57}</sup>, уже ввергнул меня в Вергилия, в котором я почти ничего не понимал. Я был обречен, как будет видно впоследствии, много раз приниматься за латынь и никогда не знать ее. Тем не менее я работал достаточно усердно, а г-н аббат расточал на меня свои заботы с такой добротой, что воспоминание о них до сих пор умиляет меня.

Я проводил с ним большую часть утра, столько же учась у него, сколько прислуживая ему, но не как лакей – он не допускал этого, – я лишь писал под его диктовку и переписывал его бумаги; эти занятия секретаря принесли мне больше пользы, чем занятия школьника. Я не только изучил таким образом самый чистый итальянский язык, но полюбил литературу и научился разбираться в хороших книгах, что не удавалось мне у Латрибю и что пригодилось впоследствии, когда я принялся работать самостоятельно.

В ту пору моей жизни я и без романтических проектов мог с полным правом отдаться надеждам на успех. Г-н аббат был очень доволен мною и всем говорил об этом, а его отец так привязался ко мне, что, по словам графа де Фавриа, рассказал обо мне королю. Сама г-жа де Брей уже не выказывала ко мне презрения. Наконец я стал чем-то вроде фаворита в доме, к великой зависти остальных слуг, которые, видя, что сам сын хозяина удостоивает меня своего руководства, понимали, что я не останусь долго в одном положении с ними.

Насколько я мог судить о видах на меня по нескольким брошенным вскользь словам, – я задумался о них лишь впоследствии, – мне кажется, что семье Соляр, специализировавшейся в области дипломатии и, может быть, прокладывавшей себе дорогу к министерским постам, было очень удобно заранее подготовить подчиненного, обладающего достоинствами и талантом, который, завися единственно от нее, мог бы впоследствии приобрести ее доверие и с пользой служить ей. Этот план графа Гувона был великодушен, разумен, благороден и действительно достоин знатного вельможи, добродетельного и предусмотрительного; но, помимо того, что я в то время еще не мог знать его во всем его объеме, он был для меня слишком благоразумен и требовал с моей стороны слишком длительного подчинения. Мое безумное честолюбие искало счастья только в приключениях, и так как здесь не была замешана женщина, этот путь к успеху казался мне слишком медленным, скучным и

унылым, между тем как я должен был бы считать его тем более достойным и надежным, что дело обходилось без женщины, поскольку те качества, которым обыкновенно покровительствуют женщины, мало стоят в сравнении с теми, присутствие которых предполагалось во мне.

Все шло как нельзя лучше. Я приобрел, почти что взял с бою, всеобщее уважение; испытания мои окончились, на меня стали смотреть как на молодого человека, подающего большие надежды, но занимающего не свое место, и который, как все ожидали, несомненно выдвинется. Но моим местом было не то, которое предназначалось мне людьми, и мне предстояло достичь его совершенно иными путями. Я касаюсь одной из характерных черт, мне свойственных, и хочу представить ее читателю, не пускаясь в рассуждения.

Хотя в Турине было много новообращенных вроде меня, но я их не любил и у меня ни разу не возникло желания увидеться с кем-либо из них. Однако я повстречал несколько женецев, которые не были из их числа, и среди них некоего Мюссара, по прозвищу Криво-мордый, художника-миниатюриста и отчасти моего родственника. Этот Мюссар раз узнал, что я живу у графа Гувона, и пришел повидать меня, захватив с собой друга, женеца Бакля, моего товарища в годы ученичества у гравера.

Этот Бакль был очень забавный малый, очень веселый, падкий до шутовских выходок, довольно милых в юном возрасте. И вот я вдруг пленился г-ном Баклем, пленился до такой степени, что больше не мог расстаться с ним! Он должен был вскоре вернуться в Женеву. Какую потерю предстояло мне перенести! Я чувствовал, как она огромна. Чтобы воспользоваться по крайней мере остающимся временем, я больше не разлучался с Баклем, – вернее, он не покидал меня, потому что сперва голова у меня закружилась не до такой степени, чтоб без спросу уходить из дому и проводить с ним время. Но вскоре, заметив, что он совсем овладел мною, перед ним закрыли двери, и я дошел до того, что, забыв обо всем, кроме моего друга Бакля, перестал бывать у г-на аббата и г-на графа, и меня больше не видели дома. Мне сделали внушение, но я не послушался. Мне пригрозили расчетом. Эта угроза погубила меня: она навела меня на мысль уйти с Баклем. С этой минуты для меня не существовало другого наслаждения, другой доли, другого счастья, кроме возможности совершить подобное путешествие, и мне все мерещились только несказанные радости этого путешествия, в конце которого, хотя и в безграничной дали, я предвидел встречу с г-жой де Варане; о возвращении же в Женеву я не помышлял ни минуты. Холмы, луга, рощи, ручьи, деревни мелькали передо мной без конца и без перерыва с новым очарованием; этот блаженный путь должен был, казалось, поглотить всю мою жизнь целиком. Я с восторгом вспоминал, каким очаровательным было для меня это путешествие, когда я шел сюда; каково же оно будет, когда ко всей прелести независимости присоединится радость совершить этот переход с товарищем моего возраста, моих наклонностей и веселого нрава, без стеснения, без обязанностей, без принуждения, без необходимости останавливаться или идти дальше иначе, как по своей воле! Надо было быть безумцем, чтобы подобное счастье принести в жертву честолюбивым замыслам; осуществление их идет так медленно, неверно и с таким трудом, что, воплощенные в жизнь, они, несмотря на весь свой блеск, не стоят и четверти часа истинного наслаждения и свободы в молодые годы!

Преисполненный этой мудрой фантазией, я стал вести себя так, что меня в конце концов выгнали, и, право, я добился этого не без труда. Однажды вечером, когда я возвращался, дворецкий передал мне расчет от имени графа. Именно этого мне и нужно было, так как, невольно чувствуя всю нелепость своего поведения, я теперь мог обвинять других в несправедливости и неблагодарности, рассчитывая таким образом свалить на них собственную вину и оправдать в своих глазах решение, принятое будто бы по необходимости. Мне передали от имени графа де Фавриа, чтоб на другой день утром я зашел переговорить с ним перед отъездом, и так как допускали, что, потеряв голову, я могу не исполнить этого, дворецкий

отложил на следующий после этого посещения день вручение мне известной суммы, которую я, без сомнения, очень плохо заслужил: не предполагая оставлять меня в лакеях, мне не назначили определенного жалованья.

Граф де Фавриа, как ни был он молод и легкомыслен, имел со мной по этому поводу очень серьезную и, осмелюсь сказать, очень ласковую беседу. Описав в трогательных и лестных для меня выражениях заботы своего дяди и намерения деда, он живо изобразил мне все, что я теряю, устремляясь к своей гибели, и предложил мне покончить дело миром, требуя от меня исполнения единственного условия – перестать видеться с этим жалким малым, который меня соблазнил.

Было очевидно, что он говорит все это не от своего имени, и я, несмотря на свое дурацкое ослепление, почувствовал всю доброту моего старого хозяина и был растроган; однако это дорогое моему сердцу путешествие окончательно овладело моим воображением, и уже ничто не могло одолеть его притягательной силы. Я был вне себя: заупрямился, ожесточился, разыграл гордеца и надменно ответил, что раз мне дают расчет – я беру его, что теперь уже не время отступать и, что бы ни случилось со мной в жизни, я твердо решил, что никогда не позволю выгонять себя дважды из одного и того же дома. Тогда этот молодой человек, в справедливом негодовании, назвал меня так, как я этого заслужил, вытолкал меня за плечи из своей комнаты и захлопнул за мной дверь; я вышел торжествуя, будто одержал величайшую победу; и из боязни, что мне придется выдержать второе сражение, имел низость уйти, не поблагодарив г-на аббата за его доброту.

Чтобы понять всю силу моего безумия в ту минуту, необходимо знать, до какой степени мое сердце способно воспламеняться из-за безделицы и с какой силой овладевает моим воображением привлекающий его предмет, как бы порой он ни был ничтожен. Планы самые нелепые, самые ребяческие, самые причудливые поддерживают мою излюбленную идею и убеждают в возможности всецело отдаться ей. Кто поверит, что в девятнадцать лет можно строить все свое будущее на какой-то пустой склянке? Так послушайте!

Аббат Гувон за несколько недель до этого подарил мне Геронов фонтан<sup>{58}</sup>, очень хорошенький, от которого я пришел в восторг. Постоянно приводя его в действие и не переставая болтать о нашем путешествии, мы с мудрым Баклем решили, что этот фонтан может помочь нашему путешествию и способствовать его продолжительности. Есть ли на свете что-нибудь любопытнее Геронова фонтана? Мы построили здание нашего будущего благополучия на этой основе. В каждой деревне мы станем собирать крестьян вокруг нашего фонтана, и тогда обеда и всякие припасы посыплются на нас в изобилии, так как мы оба были убеждены, что пищевые продукты не стоят ничего тем, кто их производит, и что если эти люди не кормят прохожих даром до отвала, то просто по нежеланию. Мы воображали, что всюду будем встречать одни пиры и свадьбы, и рассчитывали, что, не расходуя ничего, кроме дыхания наших легких и воды из нашего фонтана, сможем при помощи его покрыть наши издержки в Пьемонте, в Савойе, во Франции и во всем мире. Мы без конца строили планы путешествия, и если направляли свой путь сперва к северу, то скорей из удовольствия совершить переход через Альпы, чем из предполагаемой необходимости остановиться наконец где-нибудь.

Таков был план, с которым я выступил в поход, покинув без сожаления своего покровителя, своего наставника, свое учение, свои надежды и почти верный расчет на карьеру, для того чтобы начать жизнь настоящего бродяги. Прощай, столица, прощай, двор, честолюбие, тщеславие, любовь, красавицы и необыкновенные приключения, надежда на которые привела меня сюда в прошлом году! Я отправляюсь в путь со своим фонтаном, с другом Баклем, с тощим кошельком, но с сердцем, преисполненным радости, мечтая только о наслаждениях бродячей жизни, – вот к чему неожиданно свелись все мои блистательные проекты.

Тем не менее я совершил это причудливое путешествие почти столь же приятно, как и ожидал, но не совсем согласно с планом, так как хотя наш фонтан и забавлял некоторое

время хозяек и служанок в харчевнях, однако, уходя, нам все-таки приходилось платить. Но это нас несколько не смущало: мы решили по-настоящему извлечь выгоду из этого источника только тогда, когда окажется недостаток в деньгах. Несчастный случай избавил нас от хлопот. Фонтан разбился около Брамана<sup>1591</sup>, и это произошло вовремя: мы оба чувствовали, не смея в этом признаться, что он начинает нам надоедать. Это злоключение придало нам еще больше веселья, и мы от души хохотали над своим легкомыслием: мы уже позабыли, что наша одежда и башмаки изнаются, и не думали, как бы добыть их при помощи нашего фонтана. Мы продолжали свое путешествие столь же весело, как и начали, но стали несколько прямее двигаться к цели, достичь которой побуждал нас истощавшийся кошелек.

В Шамбери я стал задумываться не над глупостью, которую только что выкинул, – никто никогда не сводил счетов с прошлым быстрее и легче меня, – но над приемом, ожидавшим меня у г-жи Варане, ибо я рассматривал ее дом как родной. Я писал ей, что поступил к графу Гувону; она знала, какое положение я занимал у него, и, поздравив меня, дала мне несколько глубоко разумных советов относительно того, как я должен ответить на сделанное мне добро. Она считала мое счастье обеспеченным, если только я сам по своей вине не разрушу его. Что же она скажет, увидев меня у себя? Мне и в голову не приходило, что она может запереть передо мною дверь, но я опасался, что причину ей огорчение, боялся ее упреков, более для меня тяжелых, чем нищета. Я решил перенести все молча и сделать все возможное, чтобы успокоить ее. Во всей вселенной видел я теперь только ее одну; жить, находясь у нее в немилости, казалось мне невозможным. Больше всего беспокоил меня мой спутник, я не хотел его навязывать ей, но боялся, что мне нелегко будет от него отделаться. Я подготовил расставанье, проявив к нему холодность в последний день. Мошенник понял меня; он был не столько дурак, сколько сумасброд. Я думал, что он огорчится моим непостоянством; я оказался не прав: мой товарищ Бакль не огорчился ничем. Едва только мы достигли Аннеси и вступили в город, как он сказал мне: «Вот ты и дома», поцеловал меня, попрощался, сделал пируэт и исчез. Я больше никогда ничего не слышал о нем. Наше знакомство и дружба длились около шести недель, но последствия их будут длиться всю мою жизнь.

Как билось мое сердце, когда я приближался к дому г-жи де Варане! Ноги мои дрожали, в глазах потемнело, я ничего не видел, ничего не слышал, никого не мог бы узнать; я был вынужден несколько раз остановиться, чтоб передохнуть и прийти в себя. Неужели боязнь не получить помощи, в которой я нуждался, приводила меня в такое волнение? Но может ли в моем возрасте страх перед голодной смертью вызвать такую тревогу? Нет, нет! Я говорю это столько же из гордости, сколько ради истины: никогда, ни в какую пору моей жизни ни нужде, ни корыстолюбию не удавалось заставить мое сердце расширяться от радости или сжиматься от горя. В течение всей моей жизни, изменчивой и полной исключительных превратностей судьбы, часто оставаясь без пристанища и без куска хлеба, я всегда глядел одинаково и на богатство, и на нищету. В случае нужды я мог бы просить милостыню или воровать, как всякий другой, – но никогда не стал бы огорчаться из-за того, что доведен до нищеты. Мало найдется людей, испытавших столько горя, как я, мало кто пролил в своей жизни столько слез, – но никогда бедность сама по себе или боязнь впасть в нее не заставили меня испустить хотя бы один вздох, пролить хотя бы одну слезу. При всех испытаниях судьбы душа моя знала только истинные скорби и только истинные радости, которые не зависят от благосклонности судьбы; и я чувствовал себя самым несчастным из смертных именно в то время, когда не нуждался ни в чем необходимом.

Едва предстал я перед глазами г-жи де Варане, как вид ее успокоил меня. Я вздрогнул при первом звуке ее голоса, бросился к ее ногам и в порыве живейшей радости прильнул губами к ее руке. Что до нее – я не знаю, имела ли она известия обо мне, но я заметил на ее лице мало удивления и никаких признаков печали. «Бедный мальчик! – нежно сказала она

мне. – Значит, ты опять здесь? Я хорошо знала, что ты слишком молод для такого путешествия, и очень рада, что оно по крайней мере не так плохо кончилось, как я боялась». Потом она заставила меня рассказать мою недлинную историю, и я передал ее очень правдиво, опустив, однако, некоторые подробности, но, впрочем, не щадя себя и не оправдываясь.

Встал вопрос, куда поместить меня. Она посоветовалась со своей горничной. Во время этого обсуждения я не смел дышать; но когда я услышал, что буду жить в самом доме, я с трудом мог сдерживать себя и смотрел, как мой узелок вносят в предназначенную мне комнату, приблизительно так, как Сен-Пре смотрел на водворение своего экипажа в сарай г-жи де Вольмар<sup>160</sup>. Вдобавок я имел удовольствие узнать, что эта милость не будет кратковременной, и в ту минуту, когда я, на посторонний взгляд, был поглощен совсем другими предметами, я услышал, как она сказала: «Пусть говорят, что хотят, но раз провидение возвращает его мне, я решила не покидать его».

И вот наконец я поселился у нее. Однако не с момента этого водворения датирую я самые счастливые дни моей жизни; он только подготовил их. Хотя сердечная чувствительность, заставляющая нас находить наслаждение в нас самих, является делом природы, а может быть, и следствием нашей организации, она нуждается в определенных условиях, чтобы развиваться. Без этих случайных условий человек, крайне чувствительный от рождения, ничего не испытал бы и умер, не познав своей собственной природы. Таким приблизительно был я до тех пор и таким, быть может, остался бы навсегда, если б никогда не знал г-жи Варане или если бы, даже узнав ее, не прожил достаточно долго подле нее и не усвоил бы от нее сладостной привычки к нежным чувствам, которую она мне внушила. Осмелюсь утверждать, что тот, кто знает только любовь, не знает еще самого сладостного, что есть в жизни. Я знаю другое чувство, быть может, не столь бурное, но в тысячу раз более прекрасное; оно иногда сопутствует любви, но часто существует и отдельно. Это чувство не только дружба, – оно более страстно, более нежно; я не думаю, чтоб его можно было испытывать к существу своего пола; по крайней мере я был другом, если только есть дружба на свете, но никогда не испытал такого чувства к кому-либо из своих друзей. Это неясно, но уяснится впоследствии; чувства можно по-настоящему описать только в их проявлениях.

Она жила в старом, довольно просторном доме, где имелась прекрасная запасная комната, служившая гостиной. В ней-то меня и поместили. Эта комната выходила в переулок, в котором, как я говорил, мы впервые встретились и где, за ручьем и садами, открывался вид на сельскую местность. К этому виду не мог остаться равнодушным молодой обитатель комнаты. Впервые после Боссе у меня была зелень перед окнами. Всегда замурованный в стенах, я видел перед собою только крыши да серые улицы. Как глубоко почувствовал я очарование этой новизны! Она еще больше углубила мое предрасположение к нежности. В этом прелестном пейзаже я видел еще одно из благоденствий моей милой покровительницы; мне казалось, что она сделала это нарочно для меня; в мечтах я мирно расположился там подле нее; я видел ее всюду среди цветов и зелени; ее очарование сливалось в моих глазах с очарованием весны. Мое сердце, до тех пор стесненное, почувствовало себя привольно на этом просторе, и вздохи мои свободней вылетали из груди среди этих плодовых садов.

У г-жи де Варане не было того великолепия, которое я видел в Турине, но у нее господствовала опрятность, благопристойность и то патриархальное изобилие, с которым никогда не совмещается роскошь. У нее было мало серебряной посуды, вовсе не было фарфора, не было дичи на кухне, иностранных вин в погребах, но и кухня, и погреб были хорошо снабжены к услугам всех, и в фаянсовых чашках подавался превосходный кофе. Кто бы ни заходил, его приглашали отобедать вместе с ней или у нее в доме, и никогда рабочий, посланец или прохожий не выходил от нее, не поев или не выпив по старому гельветскому обычаю. Ее прислуга состояла из горничной, уроженки Фрибура<sup>161</sup>, довольно миловидной, по имени Мерсере; лакея из тех же мест, Клода Анэ, о котором будет речь впереди; кухарки и двух



носильщиков, коих нанимали, когда она отправлялась в гости, что, впрочем, бывало редко. Это было много для дохода в две тысячи ливров; тем не менее ей, при толковом обращении с деньгами, хватало бы ее небольшой пенсии в стране, где земля очень плодородна, а деньги очень редки. К несчастью, экономия никогда не была ее излюбленной добродетелью: она входила в долги, расплачивалась, деньги сновали, как ткацкий челнок, – и все уплывало.

Ее домашний уклад был как раз тот, какой избрал бы я сам: нетрудно поверить, что я подчинился ему с удовольствием. Не особенно нравилось мне только слишком долгое сидение за столом. Она плохо переносила первое ощущение от запаха супа и других кушаний; этот запах доводил ее почти до обморока, и приступ отвращения продолжался долго. Мало-помалу она приходила в себя, начинала разговаривать, но ничего не ела. Не раньше как через полчаса пробовала она проглотить первый кусок. В этот промежуток я успел бы пообедать три раза; мой обед бывал окончен задолго до того, как она приступала к обеду. За компанию я начинал сначала; таким образом, я ел за двоих и чувствовал себя от этого не хуже. И я тем сильнее испытывал подле нее сладкое чувство довольства, что к этому довольству, которым я наслаждался, не примешивалось ни малейшей тревоги о средствах для его поддержания. Еще не будучи интимно посвящен в ее дела, я полагал, что они могут идти сами собой, тем же путем. Впоследствии я находил в ее доме те же удовольствия, но, ближе познакомившись с истинным ее положением и видя, что они отражаются на ее доходах, не мог уже вкушать эти радости с тем же спокойствием. Предвидение всегда портило мне наслаждения. Я предугадывал будущее втуне: я никогда не мог избежать его.

С первого же дня между нами установилась самая нежная непринужденность, и такой она оставалась до конца ее жизни. «Маленький» стало моим, «маменька» – ее именем, и мы навсегда остались друг для друга «маленьким» и «маменькой», даже когда время почти стерло разницу в наших летах. Я нахожу, что эти два имени отлично передают весь характер наших отношений, простоту нашего обращения друг с другом и особенно связь наших сердец. Она была для меня самой нежной матерью, никогда не думавшей о собственном удовольствии, а всегда о моем благе; и если чувственность вошла в мою привязанность к ней, она не изменила сущности этой привязанности, а только сделала ее более восхитительной, опьянила меня очарованием иметь такую молодую и красивую маму, которую мне приятно было ласкать; я говорю «ласкать» в буквальном смысле, потому что ей никогда не приходило в голову отказывать мне в поцелуях и в самых нежных материнских ласках, и никогда в мое сердце не входило желание злоупотребить ими. Скажут, что в конце концов у нас все-таки возникли отношения другого рода; признаюсь в этом; но надо подождать, я не могу рассказать все сразу.

Быстрый взгляд при первом нашем свидании был единственным действительно страстным мгновением, которое она когда-либо заставила меня пережить, но и это мгновение было лишь следствием неожиданности. Мои нескромные взгляды никогда не проникали под ее косынку, хотя плохо скрытая округлость в этом месте могла бы привлечь мое внимание. Возле нее я не испытывал ни порывов, ни желаний; я был погружен в дивное спокойствие, наслаждался, сам не зная чем. Я провел бы так всю свою жизнь и даже вечность, не сучая ни минуты. С ней одной я ни разу не испытал той сухости в разговоре, которая превращает для меня в пытку обязанность поддерживать его. Наши беседы наедине были не разговорами, а скорее неиссякаемой болтовней, прекращавшейся только тогда, когда кто-нибудь прерывал ее. Теперь уже не нужно было заставлять меня говорить, принуждать приходилось скорее к молчанию. Погрузившись в обдумывание своих планов, она часто впадала в мечтательность. Что ж! Я предоставлял ее мечтам, умолкал и, созерцая ее, был счастливейшим из смертных. У меня была еще одна очень странная привычка. Не притязая на уединенные свидания, я, однако, беспрестанно искал их и наслаждался ими со страстью, переходившей в ярость, когда докучные люди нарушали их. Как только являлся кто-нибудь,

мужчина или женщина – безразлично, я в сердцах срывался с места, так как терпеть не мог оставаться с нею при посторонних. Уйдя в прихожую, я считал минуты, проклиная этих вечных посетителей, и не понимал, о чем они могут так много говорить, потому что мне надо было сказать ей еще больше.

Всю силу своей привязанности я чувствовал лишь тогда, когда ее не видел. Когда я видел ее, я был только доволен, но в ее отсутствие мое беспокойство доходило до страдания. Потребность жить подле нее вызывала у меня порывы умиления, часто доходившие до слез. Я всегда буду помнить, как однажды, в большой праздник, когда она была у вечерни, я пошел погулять за город; сердце мое было полно ее образом и пламенным желанием провести все дни мои подле нее. У меня было достаточно рассудка, чтобы понять, что по крайней мере в настоящее время это было невозможно и что счастье, которым я так наслаждаюсь, будет непродолжительно. Это прибавляло к моей мечтательности грусть, впрочем, не имевшую в себе ничего мрачного и смягченную радужной надеждой. Звон колоколов, всегда странно волновавший меня, пенье птиц, красота дня, прелесть пейзажа, всюду разбросанные деревенские дома, в которых я мысленно представлял себе наше совместное житье, – все это так поражало мое воображение живым, нежным, грустным и трогательным впечатлением, что я чувствовал себя, как в экстазе, перенесенным в то счастливое время и ту счастливую обитель, где сердце мое, обладая всем блаженством, которое может прельщать его, наслаждалось им в невыразимых восторгах, даже не помышляя о чувственных наслаждениях. Никогда, насколько я помню, не проникал я в будущее с такой силой и ясностью, как тогда. И при воспоминании об этой мечте, когда она осуществилась, больше всего поражало меня то, что я нашел все предметы совершенно такими, какими представлял их себе. Если когда-либо сон наяву напоминал пророческое видение, это было, конечно, на этот раз. Я обманулся лишь в его воображаемой продолжительности, так как дни, годы, целая жизнь протекали в нем неизменно спокойные, тогда как в действительности все это длилось только мгновенье. Увы! Мое самое прочное счастье было сном: едва я достиг его, почти тотчас же последовало пробужденье.

Я никогда не кончил бы, если б стал подробно рассказывать о тех безумствах, какие заставляла меня проделывать мысль о моей дорогой маменьке, когда я не был у нее на глазах. Сколько раз целовал я свою постель, при мысли о том, что она спала на ней, занавески, всю мебель в моей комнате – при мысли о том, что они принадлежали ей и ее прекрасная рука касалась их, даже пол, на котором я простирался, – при мысли, что она по нему ступала. Иногда и в ее присутствии мне случалось выкидывать нелепые проделки, которые могли быть внушены, кажется, только самой пылкой любовью. Однажды за столом, в тот момент, когда она положила кусок в рот, я крикнул, что на нем волос; она выбросила кусок на тарелку; я жадно схватил его и проглотил. Словом, между мной и самым пылким любовником была одна-единственная разница, но разница самая существенная, которая делает мое состояние почти непостижимым для разума.

Я вернулся из Италии не совсем таким, каким отправился туда, но каким в моем возрасте никто оттуда, может быть, не возвращался. Я принес оттуда не невинность, а девственность. Я почувствовал смену лет, мой беспокойный темперамент наконец пробудился, и первый взрыв его, совершенно невольный, поверг меня в страшную тревогу о своем здоровье, и это лучше, чем что-либо другое, рисует непорочность, в какой я пребывал до тех пор. Вскоре, успокоившись, я познал опасную замену, которая обманывает природу и спасает молодых людей моего склада от настоящего распутства за счет их здоровья, силы, а иногда и жизни. Этот порок, столь удобный стыдливым и робким, имеет особенную привлекательность для людей с живым воображением, давая им, так сказать, возможность распорядиться нежным полом по своему усмотрению и заставлять служить себе прельстившую красавицу, не имея нужды добиваться ее согласия. Соблазненный этим пагубным преиму-

ществом, я стал разрушать дарованный мне природой крепкий организм, который к тому времени вполне развился. Пусть прибавят к этой склонности обстановку, в которой я тогда находился, живя у красивой женщины, лелея образ ее в глубине своего сердца, постоянно встречаясь с ней днем, окруженный по вечерам предметами, напоминающими мне о ней, засыпая в постели, в которой, я знал, она спала раньше! Сколько побудителей! Иной читатель, представив их себе, уже видит меня полумертвым. Совсем напротив, именно то, что должно было бы погубить меня, послужило к моему спасению, по крайней мере на время. Опьяненный счастьем жить подле нее, пламенным желаньем провести с ней все мои дни, я всегда видел в ней, отсутствующей или присутствующей, нежную мать, дорогую сестру, очаровательную подругу и ничего больше: я всегда видел ее такой, всегда неизменной, и не видел никого, кроме нее. Образ ее, постоянно пребывающий в моем сердце, не оставлял в нем места ни для какого другого; она была для меня единственной женщиной на свете, и необычайная нежность чувств, которые она мне внушала, не оставляя моей чувственности времени пробудиться по отношению к другим, предохраняла меня как от нее самой, так и от всех представительниц ее пола. Словом, я был благодарен, потому что любил ее. Пусть по этим следствиям, описание которых дается мне плохо, кто может, объяснит, какого рода была моя привязанность к ней. Я же могу сказать об этом только одно: если она уже теперь кажется необыкновенной, то впоследствии покажется таковой еще в большей степени.

Я проводил время самым приятным на свете образом, хотя был занят делами, которые нравились мне меньше всего. Надо было составлять проекты, перебеливать счета, переписывать рецепты, а также сортировать травы, растирать лекарственные снадобья, смотреть за перегонным кубом. Все это перемежалось появлением множества прохожих, нищих, посетителей всякого рода. Приходилось одновременно беседовать с солдатом, аптекарем, каноником, изящной дамой, послушником. Я ругался, ворчал, проклинал, посылал к черту всю эту проклятую толчею. Но г-жа Варане на все смотрела весело, мое бешенство заставляло ее смеяться до слез; и особенно смешило ее то, что я тем более свирепел, чем менее мог сам удержаться от смеха. Эти маленькие промежутки, когда я мог доставить себе удовольствие поворчать, были прелестны, и если во время такой ссоры являлся новый докучливый посетитель, она умела извлечь из этого посещения новый способ развлечься, лукаво затягивая визит и бросая на меня такие взгляды, за которые я охотно поколотил бы ее. Она с трудом удерживалась от хохота, видя, как я, принужденный из благопристойности сдерживать себя, смотрел на нее глазами одержимого, между тем как в глубине души и даже наперекор самому себе не мог не сознавать, что все это чрезвычайно комично.

Все это хотя само по себе мне и не нравилось, тем не менее забавляло меня, так как составляло часть того образа жизни, который казался мне очаровательным. Ничто из того, что происходило вокруг меня, ничто из того, что меня заставляли делать, не было мне по вкусу, но все это было мне по сердцу. Кажется, я в конце концов полюбил бы медицину, если б мое отвращение к ней не вызывало забавных сцен, беспрестанно увеселявших нас; вперые, может быть, это искусство производило подобный результат. Я утверждал, что могу узнать медицинскую книгу по запаху, и, что всего забавнее, редко ошибался в этом. Она заставляла меня пробовать самые отвратительные снадобья. Напрасно я пытался бежать или защищаться: наперекор моему сопротивлению и ужасным гримасам, хотел я того или нет, но когда я видел, как ее хорошенькие пальчики, перепачканные лекарством, приближаются к моим губам, я сдавался, и мне не оставалось ничего другого, как открыть рот и облизать их. Если б кто-нибудь увидел, как мы, с криками и смехом, бегаем по той комнате, где находилось все ее маленькое оборудование, он мог бы подумать, что здесь разыгрывают фарс, а не занимаются приготовлением опиагов и эликсиров.

Однако не все мое время проходило в подобных проказах. В комнате, которую я занимал, я обнаружил несколько книг: «Зрителя»<sup>{62}</sup>, Пуфендорфа<sup>{63}</sup>, Сент-Эврémonа<sup>{64}</sup>

и «Генриаду»<sup>{65}</sup>. Хотя я больше не был одержим прежней своей страстью к чтению, но от нечего делать читал все это понемногу. «Зритель» особенно понравился мне и принес мне много пользы. Аббат де Гувон научил меня читать не так жадно, но более вдумчиво: чтение пошло мне впрок. Я приучил себя размышлять над оборотами, над изящным построением речи, учился отличать чистый французский язык от моих провинциализмов. Например, следующие два стиха из «Генриады» излечили меня от орфографической ошибки, которую я до сих пор делал, подобно всем женевам:

Soit qu'un ancien respect pour le sang de leurs maîtres  
Parlât encore pour lui dans le coeur de ces traîtres<sup>7</sup>.

Мое внимание было привлечено словом *parlât*;<sup>8</sup> я понял, что третьему лицу сослагательного наклонения свойственно окончание «t», тогда как раньше писал и произносил его «parla», как прошедшее изъявительного.

Иногда я беседовал с маменькой по поводу прочитанного, иногда читал подле нее: это доставляло мне большое удовольствие; а вместе с тем чтение хороших книг принесло мне пользу. Как я уже говорил, ум у нее был просвещенный и тогда еще в полном расцвете. Несколько писателей стремились ей понравиться и научили ее разбираться в литературных произведениях. Вкус у нее был, если можно так выразиться, немного протестантский; она только и толковала о Бэйле<sup>{66}</sup> и носилась с Сент-Эвремоном, который давно умер для Франции. Но это не мешало ей быть знакомой с хорошей литературой и умно говорить о ней. Она получила воспитание в избранном обществе и, приехав в Савойю еще юной, в приятном общении с местной знатью потеряла тот манерный тон кантона Во, где женщины считают остроумие признаком светскости и умеют говорить только эпиграммами.

Хотя она видела королевский двор только мельком, ей достаточно было окинуть его быстрым взглядом, чтобы узнать его. Она сохранила там друзей и, несмотря на скрытую зависть, несмотря на ропот, возбуждаемый ее поведением и долгами, никогда не лишалась своей пенсии. У нее были знание света и ум, склонный к размышлению, дававший ей возможность использовать свое знание. Это служило ей излюбленной темой для бесед, и, ввиду моих химерических идей, как раз такой вид обучения был мне всего нужнее. Мы читали вместе Лабрюйера, – он нравился ей больше Ларошфуко<sup>{67}</sup> – книги печальной и безутешной, особенно в молодости, когда не любят видеть человека таким, каков он есть. Иной раз она начинала морализировать и порой заносилась слишком далеко, но я, целуя время от времени ее губы и руки, вооружался терпением и не скучал от ее долгих рассуждений.

Такая жизнь была слишком сладостной, чтобы продолжаться долго. Я это чувствовал, и только беспокойство о том, что она кончится, омрачало мое счастье. Забавляясь со мной, маменька в то же время изучала меня, наблюдала, расспрашивала и строила множество планов моего будущего благополучия, без которых я прекрасно мог бы обойтись. По счастью, недостаточно было изучить мои склонности, мои вкусы, мои маленькие таланты: надо было или найти, или создать возможность извлечь из них пользу, а этого нельзя было сделать в один день. Преувеличенное мнение, которое бедная женщина составила о моих достоинствах, отодвигало момент их применения, делая ее более разборчивой при выборе средств. Таким образом, все шло по моему желанию благодаря ее хорошему мнению обо мне; но это мнение пришлось снизить, и с тех пор – прощай, спокойствие! Один из ее родственников, г-н д'Обон, приехал навестить ее. Это был человек очень умный, интриган, гений по части

<sup>7</sup> Может быть, старинное уважение к крови их властелинов заговорило в его пользу в сердцах этих изменников.

<sup>8</sup> Заговорило (франц.).

проектов, подобно ей, но не разоряющийся на них, – особая разновидность авантюриста. Он только что предложил кардиналу Флери план очень сложной лотереи, не получивший одобрения. Тогда он обратился с ним к туринскому двору, где этот план приняли и привели в исполнение.

Он остановился на некоторое время в Аннеси и увлекся здесь супругой интенданта, очень любезной женщиной, очень мне нравившейся, единственной, которую я встречал у маменьки с удовольствием. Г-н д'Обон увидел меня; его родственница сказала ему обо мне; он взялся проэкзаменовать меня, посмотреть, на что я способен, и, если я окажусь годным, устроить меня на место.

Г-жа да Варане посылала меня к нему два или три утра подряд под предлогом каких-то поручений, не предупредив меня ни о чем. Он очень удачно заставлял меня разговориться, установил со мной простые отношения, беседовал со мной о всяких пустяках и на всевозможные темы, не показывая вида, что наблюдает за мной, без малейшего подчеркивания, – как будто, чувствуя себя хорошо в моем обществе, он хочет поговорить без стеснения. Я был очарован, а он в результате своих наблюдений пришел к выводу, что, несмотря на мою обещающую наружность и мое живое лицо, я если и не совсем лишен способностей, то, во всяком случае, не особенно умен, не умею мыслить, почти ничего не знаю, – словом, во всех отношениях чрезвычайно ограничен; и пределом счастья, на которое я могу рассчитывать, – это честь сделаться когда-нибудь деревенским кюре. Таков был его отчет г-же Варане. Подобное мнение обо мне высказывалось уже во второй или третий раз; но не в последний: приговор г-на Массерона<sup>{68}</sup> неоднократно повторялся.

Причина такого рода оценок слишком тесно связана с моим характером и поэтому требует объяснения; ведь, говоря по совести, всякому понятно, что я не могу искренне подписаться под ними, и при всем моем беспристрастии – что бы ни говорили господа Массерон, д'Обон и другие, – отказываюсь верить им на слово.

Непостижимым для меня самого образом два свойства, почти несовместимые, сливаются во мне: очень пылкий темперамент, живые, порывистые страсти – и медлительный процесс зарождения мыслей: они возникают у меня с большим затруднением и всегда слишком поздно. Можно подумать, что мое сердце и мой ум не принадлежат одной и той же личности. Чувство быстрее молнии переполняет мою душу, но вместо того чтобы озарить, оно сжигает и ослепляет меня. Я все чувствую – и ничего не вижу. Выйдя из равновесия, я тупею; мне необходимо хладнокровие, чтобы мыслить. Но вот что удивительно: у меня довольно верное чутье, пронизательность, даже тонкость, – лишь бы меня не торопили; я создаю отличные экспромты на досуге, но ни разу не сделал и не сказал ничего путного вовремя. Я мог бы очень хорошо вести беседу по почте, подобно тому как испанцы, говорят, играют в шахматы. Прочитав анекдот о герцоге Савойском<sup>{69}</sup>, вернувшемся с дороги, чтобы крикнуть: «Вам в глотку, парижский купец!» – я сказал: «Это я».

Эта медлительность мысли, соединенная с живостью чувства, бывает у меня не только в разговоре, но даже во время работы и когда я один. Мысли размещаются у меня в голове с невероятнейшей трудностью; они двигаются там вслепую, приходят в такое брожение, что волнуют меня, разгорячают, доводят до сердцебиения; и среди всей этой сумятицы я ничего не вижу ясно, не могу написать ни слова; я должен ждать. Летом незаметно эта буря стихает, хаос проясняется, каждый предмет становится на свое место, – но медленно и после долгого и смутного волнения. Не случилось ли вам быть в опере в Италии? В больших театрах при перемене декораций довольно долго царит неприятный беспорядок; все декорации перемешаны, их тянут во все стороны, так что на это трудно смотреть; кажется – все обрушится; между тем понемногу все улаживается, каждый предмет оказывается на месте, и с удивлением видишь, что за этой долгой суматохой следует восхитительный спектакль. Приблизительно то же самое совершается и в моем мозгу, когда я собираюсь писать. Если б я умел

ждать, а потом уже передавать во всей красоте обрисовавшиеся в нем предметы, не многие авторы превзошли бы меня.

Вот почему я пишу с величайшим трудом. Мои рукописи, испещренные помарками, исчерченные, путаные, неудобочитаемые, свидетельствуют о тяжких усилиях, которых они мне стоили. Нет ни одной из них, которую мне не пришлось бы переписывать четыре или пять раз, прежде чем сдать в печать. Я никогда не мог ничего создать, сидя за столом с бумагой и с пером в руке; на прогулках, среди лесов и скал, ночью в постели, во время бессонницы, – вот когда пишу я в своем мозгу; можно представить себе, с какой медлительностью идет эта работа, особенно у человека, лишенного памяти на слова, не сумевшего за всю свою жизнь затвердить шесть стихов наизусть. Иной период я отделявал и переделывал пять или шесть ночей у себя в голове, прежде чем он мог быть перенесен на бумагу. Из этого следует еще и то, что мне лучше удаются произведения, требующие труда, чем те, которые должны быть написаны с известной легкостью, как, например, письма; я никогда не мог усвоить себе нужный тон для этого жанра, и писанье их всегда было для меня пыткой. Я не могу написать письма на самую ничтожную тему, не потратив на это несколько утомительных часов, а если решу писать подряд обо всем, что придет в голову, то не умею ни начать, ни окончить; мое письмо – длинная и бессвязная болтовня; читая его, меня с трудом понимают.

Мне трудно не только выражать мысли, – мне трудно даже воспринимать их. Я изучал людей и считаю себя довольно хорошим наблюдателем; однако я ничего не умею видеть из того, что вижу в каждую данную минуту; я хорошо вижу лишь то, что вспоминаю, и умен только в своих воспоминаниях. В том, что говорится, делается, происходит в моем присутствии, я совершенно не могу разобраться. Внешний признак – вот все, что поражает меня. Но потом все это возвращается ко мне: я помню место, время, интонацию, взгляд, жест, обстоятельства; ничто не ускользает от меня. Тогда, на основании того, что было сказано или сделано, я устанавливаю, какие мысли за этим скрывались, и редко ошибаюсь.

Если даже наедине с самим собой я так плохо управляю своими умственными способностями, пусть судят о том, что я представляю собою во время разговора, когда, для того чтобы сказать кстати, надо подумать сразу о тысяче вещей. Одной мысли о стольких условностях, из которых я какие-нибудь уж наверно забуду, достаточно, чтобы запугать меня. Я даже не понимаю, как это осмеливаются вести беседу в обществе; ведь при каждом слове надо иметь в виду всех присутствующих, знать их характеры, их прошлое, – иначе нельзя быть уверенным, что не скажешь чего-либо такого, что может кого-нибудь оскорбить. В этом отношении светские люди имеют большее преимущество: лучше зная, о чем надо умолчать, они чувствуют себя увереннее в том, что говорят; но даже и у них часто бывают оплошности. Пусть же представят себе человека, который будто свалился с облаков: он не в состоянии говорить хотя бы минуту, не попав впросак. В беседе с глазу на глаз есть худшее неудобство: это необходимость говорить все время; если к вам обращаются – надо отвечать, если умолкают – надо поддерживать разговор. Одно уж это невыносимое стеснение могло бы вызвать во мне ненависть к обществу. Для меня нет принуждения более ужасного, чем обязанность тотчас же начать разговор и все время его продолжать. Не знаю, зависит ли это от моего смертельного отвращения ко всякому гнету, но для меня достаточно необходимости говорить, чтобы я неизбежно сказал глупость.

Однако всего губельнее для меня то, что, вместо того чтоб молчать, когда мне нечего сказать, я, желая поскорей развязаться, с азартом рвусь заговорить. Я спешу наскоро пробормотать бессвязные слова и счастлив, если в них нет никакого смысла. Желая преодолеть или скрыть свою глупость, я редко избегаю того, чтобы выставить ее. Из тысячи примеров, которые я мог бы привести, беру один, относящийся не к годам моей молодости, а к тому времени, когда я уже провел несколько лет в свете, должен был бы усвоить его непринужденность и его тон, если б это вообще было для меня возможно. Однажды я проводил вечер в

обществе двух великосветских дам и одного господина, которого могу назвать. Это был герцог де Гонто. В комнате больше никого не было, и я пытался вставить несколько слов – бог знает каких! – в разговор четырех собеседников, из которых трое безусловно не нуждались в моей поддержке. Хозяйка дома приказала подать опиат, так как принимала его два раза в день для желудка. Другая дама, видя, какую гримасу она сделала, сказала ей, смеясь: «Не настойка ли это господина Троншена?»<sup>{70}</sup> – «Не думаю», – отвечала первая тем же тоном. «А я думаю, что одна другой стоит», – любезно прибавил остроумный Руссо. Все были озадачены, ни у кого не сорвалось ни словечка, ни улыбки, и разговор перешел на другую тему. При другой даме моя глупость могла бы показаться только смешной, но обращенная к женщине, слишком любезной для того, чтобы не возбудить о себе некоторых толков, и которую я, конечно, не имел намерения оскорбить, – она была ужасна; и я думаю, что оба свидетеля, мужчина и женщина, с большим трудом удерживались от хохота. Вот какие остроты вырываются у меня, когда я начинаю говорить, не зная, что сказать. Мне трудно забыть этот случай не только потому, что он достоин памяти сам по себе, но и потому, что, сдается мне, он имел последствия, слишком часто напоминающие мне о нем.

Мне кажется, сказанного достаточно, чтобы объяснить, почему я, не будучи глупцом, часто слыл за дурака даже среди людей, которые могли быть хорошими судьями в этом вопросе; к вящей беде, лицо мое и глаза обещают больше, и обманутое ожидание делает для других мою тупость еще разительнее. Эту черту, хотя и чисто случайного происхождения, необходимо знать, чтобы было понятным дальнейшее. Она является ключом к объяснению многих моих из ряда вон выходящих поступков, приписываемых нелюдимому характеру, мне совершенно не свойственному; я полюбил бы общество, как и всякий другой, если б не был уверен, что являюсь там только в невыгодном свете и совсем не тем человеком, каков я в действительности. Я принял именно то решение, которое мне наиболее подходит: писать и скрываться. Живи я на виду у всех, никто никогда не узнал бы, чего я стою, никто даже не подозревал бы этого. Так и случилось с г-жой Дюпен, хотя она была женщина умная и хотя в ее доме я прожил несколько лет; она сама не раз говорила мне об этом впоследствии. Впрочем, бывали и некоторые исключения, и я вернусь к ним в дальнейшем.

После того как мера моих способностей была таким образом определена и подходящее для меня положение в жизни выбрано, мне оставалось лишь осуществить свое призвание. Затруднение заключалось в том, что я не закончил образования и даже не знал достаточно латынь, чтобы стать священником. Г-жа де Варане думала поместить меня на время в семинарию. Она переговорила об этом с ректором. Это был лазарист<sup>{71}</sup>, по имени Гро, человек добродушный, кривой, худой, седоватый, самый остроумный и наименее сухой из всех лазаристов, которых я знал, – что, говоря по правде, еще не много значит.

Он приходил иногда к маменьке; она хорошо принимала его, ласкала, дразнила, а иногда даже заставляла шнуровать себя, – занятие, за которое он брался довольно охотно. Пока он был занят исполнением этой обязанности, она металась взад и вперед по комнате, принимаясь то за то, то за другое. Увлекаемый шнурком, г-н ректор следовал за ней, ворча и поминутно повторяя: «Да стойте же смиренно, мадам». Зрелище было довольно живописное.

Г-н Гро с величайшей готовностью приступил к осуществлению проекта маменьки. Он удовольствовался очень скромным вознаграждением и взялся обучать меня; оставалось получить согласие епископа, который не только охотно дал его, но и объявил, что будет сам платить за меня. Он разрешил мне также носить светскую одежду до тех пор, пока можно будет судить о моих успехах, на которые следовало надеяться.

Какая перемена! Мне пришлось подчиниться. Я отправился в семинарию, как на казнь. Что за печальное здание – семинария, особенно для того, кто вышел из дома милой женщины! Я взял с собой только одну книгу, которую попросил у маменьки, и книга эта была для меня большим утешением. Никто не угадает, что это за книга: это были ноты. Среди

искусств, которыми она наслаждалась, не была забыта и музыка. У нее был голос, она недурно пела и немного играла на клавесине. Она была так добра, что дала мне несколько уроков пения; пришлось начать издалека, так как я был едва знаком с музыкой наших псалмов. Восемь или десять уроков, данных женщиной и притом часто прерываемых, не только не научили меня петь по нотам, но едва дали мне понятие о четвертой части музыкальных знаков. Тем не менее у меня была такая страсть к этому искусству, что я решил попробовать упражняться один. Ноты, которые я захватил с собой, были из самых легких: это были кантаты Клерамбо<sup>{72}</sup>. Можно представить себе, до какой степени я был прилежен и настойчив, если я скажу, что, не зная ни транспонировки, ни счета, сумел разобрать и научился без ошибки петь первый речитатив и первую арию из кантаты «Алфей и Аретуза»; правда, эта ария так точно скандирована, что достаточно произносить стихи согласно с их размером, чтобы попасть в ее размер.

В семинарии был один проклятый лазарист, решивший приняться за меня и заставивший меня возненавидеть латынь, которой хотел научить. У него были гладкие волосы, жирные и черные, лицо, напоминающее пряник, голос буйвола, взгляд совы, щетина кабана вместо бороды; его улыбка была язвительной, его тело двигалось точно на шарнирах, как у манекена; я забыл его ненавистное имя, но лицо его, страшное и слащавое, осталось у меня в памяти, и я не могу вспомнить о нем без содрогания. Мне чудится, что я еще встречаю его в коридорах и он снисходительно наклоняет свой засаленный четырехугольный колпак, приглашая меня к себе в комнату, более для меня отвратительную, чем тюрьма. Пусть же представят себе весь контраст между таким наставником и придворным аббатом, у которого я прежде учился.

Если бы я два месяца оставался под властью этого чудовища, ручаюсь, что голова моя не выдержала бы. Но добрый г-н Гро, заметив, что я грущу, ничего не ем и хую, догадался о причине моего горя, – да это было и нетрудно. Он вырвал меня из когтей этого животного, и я неожиданно попал в руки самого мягкого из людей: это был уроженец Фосиньи, молодой аббат Гатье, который сам проходил семинарский курс и, из любезности к г-ну Гро, а может быть, из человеколюбия, согласился урывать время среди своих занятий, чтобы руководить моими. Я никогда не видел наружности, более привлекательной, чем у г-на Гатье. Он был блондин с рыжеватой бородкой; манерой держаться он походил на своих земляков, которые под тяжеловесным обликом скрывают большой ум; но самым замечательным в нем была его душа – чувствительная, привязчивая, любящая. В его больших голубых глазах была мягкость, нежность и грусть; и, увидев его, нельзя было не заинтересоваться им. Во взгляде и в голосе бедного молодого человека было что-то, заставлявшее думать, что он предвидит свою судьбу и чувствует себя рожденным для того, чтобы быть несчастным.

Характер его не расходился с наружностью: всегда исполненный любезности и терпения, он, казалось, скорее учился вместе со мной, чем обучал меня. Мне не много было нужно, чтобы его полюбить: его предшественник сильно облегчил эту задачу. Однако, несмотря на то что он посвящал мне много времени, несмотря на наше обоюдное доброе желание и на то, что он умело взялся за дело, я подвигался очень медленно, хотя работал усердно. Странно, что, несмотря на достаточную понятливость, я никогда ничему не мог научиться от учителей, за исключением моего отца и г-на Ламберсье. То немногое, что я усвоил сверх этого, я приобрел сам, как будет видно из дальнейшего. Мой ум, не выносящий никакого принуждения, не подчиняется требованиям данной минуты; самый страх, что мне не удастся усвоить урок, мешает мне быть внимательным: я притворяюсь понимающим из боязни раздражать того, кто объясняет; он уже идет вперед, а я еще ничего не понял. Мой ум хочет действовать в свое время и не умеет подчиняться чужому распорядку.

Когда наступило время посвящения, г-н Гатье вернулся в свою провинцию диаконом. Он увез с собой мое сожаление, мою привязанность, мою благодарность. Я выразил ему



пожелания, которые так же мало исполнились, как и те, что относились ко мне самому. Через несколько лет я узнал, что, будучи викарием в одном приходе, он прижил ребенка с девушкой – единственной, которую он, несмотря на свое нежное сердце, полюбил за всю свою жизнь. Это вызвало страшный скандал в епархии, находившейся под очень строгим управлением. Священники, согласно обычаю, могут иметь детей только от замужних женщин. За то, что он пренебрег этим законом приличия, его посадили в тюрьму, опозорили, изгнали. Не знаю, удалось ли ему впоследствии улучшить свое положение, но воспоминания о его несчастье, глубоко запавшем в мое сердце, ожило во мне, когда я писал «Эмиля», и, соединив г-на Гатье с г-ном Гемом, я сделал из этих двух достойных пастырей оригинал савойского викария. Лыщу себя надеждой, что копия не принесла бесчестия образцам.

Пока я пребывал в семинарии, д'Обон был вынужден покинуть Аннеси: г-ну интенданту не нравились ухаживания за его супругой. Он поступил, как собака на сене, так как, хотя г-жа Корвези была мила, они жили очень плохо; его ультрамонтанские вкусы делали ее для него излишней, и он обращался с ней так грубо, что возник вопрос о разводе. Черный, как крот, вороватый, как сова, г-н Корвези был человек дрянной; своими проделками он сам добился того, что его прогнали со службы. Говорят, провансальцы мстят своим врагам, складывая про них песенки, – д'Обон отомстил комедией; он отослал эту пьеску г-же де Варане, которая показала ее мне. Она понравилась мне и вызвала у меня желание написать такую же комедию, чтобы проверить, действительно ли я так глуп, как утверждал автор. Я привел эту мысль в исполнение, написав «Влюбленного в самого себя»<sup>173</sup>. Впоследствии, утверждая в предисловии к этой пьесе, будто я сочинил ее в восемнадцатилетнем возрасте, я ошибся на несколько лет.

Приблизительно к этому же времени относится событие, малозначительное для меня само по себе, но чреватое последствиями и наделавшее много шума, когда я уже забыл о нем. Раз в неделю мне разрешалось уходить из семинарии; не надо объяснять, где я проводил этот день. В одно из воскресений, когда я был у маменьки, загорелось строение у кордельеров, смежное с ее домом. Это строение, в котором у них помещалась пекарня, было доверху наполнено сухим хворостом. В один миг все было в огне; дом г-жи де Варане находился в большой опасности, так как ветер относил языки пламени к нему. Все принялись поспешно выбираться и выносить мебель в сад, расположенный против моих прежних окон, по другую сторону ручья, о котором я уже говорил. Я так растерялся, что стал кидать в окна без разбору все, что попадалось под руку, вплоть до тяжелой каменной ступки, которую в другое время едва мог бы приподнять; я уже готов был выбросить туда же и большое зеркало, если бы кто-то не удержал меня. Добрый епископ, который зашел в этот вечер навестить маменьку, не оставался праздным; он увел ее в сад и стал на молитву с ней и со всеми, кто находился там; когда я немного спустя пришел туда, то застал всех на коленях и последовал общему примеру. Во время молитвы святого человека ветер переменялся, да так внезапно и так кстати, что языки пламени, уже лизавшие дом и врывавшиеся в окна, были отнесены в другую сторону, и дом не пострадал. Через два-три года, когда г-н Берне умер, его старые собратья антонианцы стали собирать материал для его канонизации. По просьбе г-на Будо я присоединил к этому материалу описание события, о котором только что рассказал; и это было хорошо, но плохо то, что я выдал это событие за чудо. Я видел епископа на молитве и видел, как во время его молитвы ветер переменялся, и притом очень кстати, – вот что я мог сказать и подтвердить, но я не должен был утверждать, что одно из этих явлений было следствием другого, – потому что не мог этого знать. Однако, насколько я могу вспомнить свои взгляды, тогда искренне католические, я сам верил в это. Любовь к чудесному, столь свойственная человеческому сердцу, мое уважение к этому добродетельному прелату, скрытая гордость, что, быть может, и я способствовал чуду, могли соблазнить меня; во всяком

случае верно одно: если это чудо было следствием самых пламенных молитв, я с полным правом мог бы приписать его отчасти и себе.

Через тридцать с лишним лет, когда я опубликовал свои «Письма с горы»<sup>{74}</sup>, г-н Фре-рон<sup>{75}</sup>, не знаю как, откопал это показание и использовал его в своих листках. Нужно признать, это была счастливая находка, и удача ее мне самому показалась очень забавной.

Быть замужем во всех профессиях – такова была моя судьба. Хотя г-н Гатье и дал о моих успехах по возможности благоприятный отзыв, всем было ясно, что успехи мои не соответствовали усердию, и это обстоятельство не могло поощрить меня к продолжению занятий. Поэтому епископ и ректор семинарии отказались от меня и возвратили меня г-же де Варане, – как субъекта, не способного быть даже сельским священником, хотя в общем, по их отзыву, малого доброго и неиспорченного; это способствовало тому, что, несмотря на столь неблагоприятную оценку, она не покинула меня.

Я торжественно принес обратно нотную тетрадь, которой сумел так хорошо воспользоваться. Ария из «Алфея и Аретузы» – вот приблизительно все, чему я научился в семинарии. Явная склонность моя к этому искусству навела маменьку на мысль сделать из меня музыканта; обстоятельства благоприятствовали этому: у нее, по крайней мере раз в неделю, занимались музыкой, а соборный регент, довольно часто навещавший ее, дирижировал этими маленькими концертами. Это был парижанин, по имени Леметр, хороший композитор, очень живой, очень веселый, еще молодой, привлекательной наружности, не особенно умный, но в общем очень славный. Маменька познакомила меня с ним; я к нему привязался и понравился ему; заговорили о пансионе и пришли к соглашению. Короче говоря, я поступил к нему в обучение и провел у него зиму тем более приятно, что певческая школа была только в двадцати шагах от маменькиного дома. В одну минуту мы оказывались там и очень часто вместе у нее ужинали.

Нетрудно понять, что жизнь в этой школе, всегда певчая и веселая, среди музыкантов и детей-певчих, понравилась мне больше, чем жизнь в семинарии, с отцами св. Лазаря. Однако, хотя и более свободная, она была не менее ровной и правильной. От природы я любил независимость и никогда не злоупотреблял ею. В продолжение целых шести месяцев я ни разу никуда не выходил, кроме как к маменьке или в церковь, и меня даже никуда не тянуло. Этот период принадлежит к числу тех, которые я прожил в самом глубоком покое, и я вспоминаю о нем с величайшим удовольствием. Среди различных положений, в которые я попадал, иные были отмечены таким чувством благополучия, что воспоминание о них вновь захватывает меня, как будто я и сегодня его переживаю. Я помню не только время, лица, место, но и все окружающие предметы, температуру воздуха, запахи, краски и то особое, производимое только данным местом, впечатление, живое воспоминание о котором снова переносит меня туда. Например, все, что репетировали в певческой школе, все, что пели в хоре, все, что там делали, прекрасная одежда каноников, священническое облачение, скуфейки певчих, лица музыкантов, старый хромо́й плотник, игравший на контрабасе, маленький белокурый аббат, игравший на скрипке, рваная сутана, которую Леметр, сняв шпагу, надевал поверх светской одежды, и красивый тонкий стихарь, которым он, идя в хор, прикрывал ее лохмотья; гордость, с какой я шел, держа в руках маленький кларнет, на свое место в оркестре, чтобы сыграть небольшое соло, нарочно написанное для меня Леметром; хороший обед, ожидавший нас потом, и хороший аппетит, с которым мы к нему приступали, – вся вереница этих образов, живо воспроизведенных, сотни раз очаровывала меня в воспоминаниях не менее, и даже более, чем в действительности. Я навсегда сохранил нежную любовь к арии «*Conditor aime siderum*»<sup>9</sup>, написанной ямбами, – потому что в одно из воскресений рождественского поста, еще лежа в постели, до рассвета, я услышал пение этого гимна на

<sup>9</sup> «Благодатный создатель созвездий» (лат.).

паперти собора, согласно обычаю этого храма; м-ль Мерсере, горничная маменьки, немного знала музыку, – я никогда не забуду маленького мотета<sup>176</sup> «Afferte»<sup>10</sup>, который Леметр заставил нас двоих спеть, а ее хозяйка слушала с таким удовольствием. Наконец все, вплоть до славной служанки Перрины, доброй девушки, которую дети из хора так донимали, – все воспоминания этого счастливого и невинного времени часто воскресают в моей памяти, очаровывая меня и вызывая во мне грусть.

Я прожил в Аннеси около года, не заслужив ни малейшего упрека: все были довольны мной. С самого моего отъезда из Турина я не сделал ни одной глупости и не делал их все время, пока был на глазах у маменьки. Она руководила мной, и руководила очень хорошо; моя привязанность к ней стала моей единственной страстью; и доказательством, что страсть эта не была безрассудной, было то, что сердце мое воспитывало мой ум. Правда, это глубокое чувство, поглощавшее, так сказать, все мои способности, лишало меня возможности чему бы то ни было научиться, даже музыке, как я ни старался. Но в этом я был не виноват: с моей стороны не было недостатка ни в доброй воле, ни в прилежании. Я был рассеян, мечтателен, часто вздыхал. Что я мог поделаться с собой? Я делал все от меня зависящее, чтобы добиться успехов; но для того чтобы надеть новых глупостей, мне нужен был только повод, который вдохновил бы меня. Этот повод представился; случай помог обстоятельствам, и, как покажет дальнейшее, моя взбалмошная голова не преминула этим воспользоваться.

В один февральский вечер, в большую стужу, когда мы все сидели у огня, послышался стук в наружную дверь. Перрина берет фонарь, идет вниз, отворяет; входит молодой человек; он поднимается по лестнице, непринужденно рекомендуется и обращается к Леметру с коротким и ловким приветствием, выдавая себя за французского музыканта, испытывающего денежные затруднения и вынужденного прибегать к побочным заработкам, чтобы перебиться. При словах «французский музыкант» сердце доброго Леметра задрожало; он страстно любил свою родину и свое искусство. Он пригласил к себе молодого путника и предложил ему кров, который тот, видимо сильно в нем нуждаясь, принял без дальнейших церемоний. Я наблюдал за ним во все время, пока он грелся у огня и болтал в ожидании ужина. Он был невысокого роста, но широкоплеч; в его сложении была какая-то неправильность, хотя и не замечалось никакого определенного уродства; это был, так сказать, горбун без горба; кажется, он только слегка прихрамывал. На нем была черная одежда, не столько старая, сколько истрепанная, вся в лохмотьях; очень тонкая и очень грязная рубашка, красивые, но сильно потертые манжеты, гетры, из которых каждая могла бы вместить обе его ноги, и для защиты от снега – маленькая шляпа, годная только на то, чтобы носить ее для виду под мышкой. В этом смешном одеянии было, однако, что-то благородное, как и в его манерах; черты его лица были очень привлекательны, он говорил легко и хорошо, но очень нескромно. Все обличало в нем молодого гуляку, получившего образование и пустившегося бродяжничать – не как настоящий бродяга, а как беспутный повеса. Он сообщил нам, что его зовут Вантюр де Вильнев, что он идет из Парижа, что дорогой он заблудился, и, немного забывая свою роль музыканта, прибавил, что направляется в Гренобль повидаться с родственником, который у него там в парламенте.

Во время ужина заговорили о музыке, и он показал себя сведущим в ней. Он знал всех великих виртуозов, все знаменитые произведения, всех актеров, актрис, всех красивых женщин, всех знатных вельмож. Казалось, он был в курсе всего, о чем только шла речь; но едва затрагивалась та или иная тема, как он прерывал беседу какой-нибудь шаловливой выходкой, которая всех сместила и заставляла забыть предмет разговора. Дело было в субботу; на другой день в соборе должна была быть музыка. Г-н Леметр предлагает ему выступить с пением. «С большим удовольствием». На вопрос, какой у него голос, следует ответ: «Альт...» И он

<sup>10</sup> «Приносите» (лат.).

снова заговаривает о другом. Перед тем как идти в церковь, ему предложили посмотреть его партию, – он не кинул на нее взгляда. Это бахвальство удивило г-на Леметра. «Вот увидите, – шепнул он мне на ухо, – он не знает ни одной ноты!» – «Боюсь, что это так», – ответил я и последовал за ним в большой тревоге. Когда начался концерт, у меня страшно забилося сердце, так как я был очень заинтересован гостем.

Скоро я успокоился. Он спел оба своих соло с поразительной точностью и вкусом и, что еще важнее, очень красивым голосом. Мне не случалось переживать более приятной неожиданности. После мессы каноники и музыканты засыпали г-на Вантюра комплиментами, на которые он отвечал шутливо, но по-прежнему очень изящно. Г-н Леметр от души расцеловал его; я сделал то же; он заметил, что я очень доволен, и это, по-видимому, было ему приятно. Все, я уверен, поймут, что после моего увлечения Баклем, в конце концов простым неучем, я легко мог увлечься Вантюром, который обладал образованием, талантами, умом, светским обращением и мог сойти за милого гуляку. Так именно со мной и случилось, и случилось бы, я думаю, со всяким другим юношей на моем месте – тем легче, чем больше у него было бы чутья и вкуса, чтобы оценить достоинства Вантюра и к нему привязаться; дело в том, что Вантюр бесспорно обладал достоинствами, и особенно одним, очень редким в его возрасте: он не торопился выказывать свои знания. Правда, он хвастался многими вещами, о которых не имел никакого понятия, но о тех, которые знал, – а их было немало, – не говорил; он выжидал случая показать свои знания на деле; тогда он пользовался своим преимуществом совершенно спокойно, и это производило величайший эффект. Так как он ни о чем не высказывался до конца, то никто не знал, когда он выложит все свои познания. Шутливый, веселый, неистощимый и увлекательный собеседник, всегда улыбающийся, но никогда не смеющийся, он говорил самым изысканным тоном самые циничные вещи, – и все сходило ему с рук. Женщины, даже самые скромные, сами дивились тому, как они могут терпеливо выслушивать все, что он осмеливается говорить. Они отлично понимали, что надо рассердиться, но у них не хватало духу. Ему нужны были только падшие женщины, и я не думаю, чтоб он был создан для того, чтоб иметь успех в жизни, но его призванием было вносить бесконечное очарование в круг людей, имевших этот успех. Трудно было допустить, чтобы, обладая столькими приятными талантами и находясь в стране, где их любят и знают в них толк, он долго остался в узком кругу музыкантов.

Мое увлечение Вантюром, более разумное в своем основании, не вызывало с моей стороны и тех сумасбродств, на которые толкнуло меня увлечение Баклем, хотя было сильнее и продолжительнее. Мне очень было приятно видеться с ним и слушать его; все его поступки казались мне очаровательными, все его слова – изречениями оракула, – но моя привязанность не доходила до того, чтобы я не был в состоянии расстаться с ним. У меня было под рукой отличное предохранительное средство против такой крайности. К тому же, находя, что его убеждения очень хороши для него, я чувствовал, что они не годятся для меня: у меня была потребность в другого рода наслаждениях, о которых он не имел понятия; я не решался говорить ему о них, зная, что он поднимет меня на смех. Тем не менее мне хотелось согласовать эту привязанность с той, которая владела мною. Я с восторгом рассказывал о нем маменьке; г-н Леметр отзывался о нем с похвалой. Она согласилась, чтобы его привели к ней. Но эта встреча совсем не удалась; он нашел ее жеманной, она его – распущенным; и, боясь, что это знакомство будет иметь для меня дурные последствия, она не только запретила мне снова приводить его к ней, но так ярко описала мне всю опасность, которой я подвергаюсь в обществе этого молодого человека, что я стал немного более осмотрительным в своем увлечении; и, к счастью для моей нравственности и головы, мы вскоре с ним расстались.

У г-на Леметра были вкусы, свойственные его профессии: он любил вино. За столом он, впрочем, был воздержан, но, работая у себя в кабинете, обязательно выпивал. Его служанка так хорошо знала это, что, как только он приготавливал бумагу для композиции и брался

за виолончель, сейчас же появлялась с кувшином и стаканом, и содержимое кувшина время от времени возобновлялось. Никогда не бывая пьян, он всегда был под хмельком, и это было поистине жаль, потому что, в сущности, он был добрый малый и такой веселый, что маменька звала его не иначе как «котенком». К несчастью, он любил свое искусство и работал много, но пил столько же. Это влияло на его здоровье, а в конечном счете и на расположение духа. Порой он бывал сумрачен и обидчив. Не способный к грубости, не способный обидеть кого бы то ни было, он ни разу не сказал дурного слова, даже маленьким певчим; однако не надо было обижать и его; и это было справедливо. Но беда была в том, что, не имея большого ума, он не разбирался в оттенках и в характерах и часто принимал муху за слона.

Старинный капитул Женевы, принадлежность к которому некогда считали за честь для себя принцы и епископы, в изгнании потерял былую пышность, но сохранил гордость. Чтобы получить в него доступ, по-прежнему надо было быть дворянином или доктором Сорбонны<sup>{77}</sup>, и если есть извинительная гордость, то это прежде всего гордость, основанная на личных заслугах, но затем также и та, которая основана на происхождении. К тому же все священники, которые держат у себя на службе мирян, обычно обходятся с ними довольно высокомерно. Именно так обращались зачастую каноники с бедным Леметром. Особенно регент, аббат де Видони, – человек, впрочем, очень любезный, но слишком кичившийся своим благородным происхождением; он не всегда относился к Леметру так, как заслуживали его таланты, а тот в свою очередь неохотно мирился с этим пренебрежением. В тот год на святой у них произошло столкновение более резкое, чем раньше, – за обедом, который епископ, по обыкновению, давал каноникам и на который Леметра всегда приглашали. Регент довольно бесцеремонно с ним обошелся и сказал ему какую-то грубость, которую тот не мог переварить. Он тут же принял решение бежать следующей ночью, и ничто не могло заставить его изменить это решение, хотя г-жа де Варане, к которой он пришел проститься, приложила все усилия, чтобы успокоить его. Он не мог отказать себе в удовольствии отомстить своим тиранам, поставив их в затруднительное положение в праздник Пасхи, когда в нем особенно нуждались. Но он сам был в большом затруднении, он хотел увезти с собой ноты, что было делом нелегким, так как ими был наполнен целый ящик, довольно большой и настолько увесистый, что его нельзя было унести под мышкой.

Маменька поступила так, как поступил бы и я на ее месте. После многих тщетных усилий удержать его, видя, что он решил уехать во что бы то ни стало, она вознамерилась помочь ему всем, чем могла. Осмеливаюсь заметить, что это был ее долг; Леметр, можно сказать, посвятил всего себя службе ей. Во всем, что касалось его искусства, и во всем, что относилось к ее делам, он был всецело в ее распоряжении, и сердечность, с которой он служил ей, придавала его любезности особую цену. Таким образом, она только возвращала другу в важном для него случае то, что он делал для нее по мелочам в течение трех или четырех лет; но душа была у нее такая, что для исполнения подобных обязанностей ей вовсе не надо было думать о том, что было сделано лично для нее. Она позвала меня, приказала мне проводить г-на Леметра по крайней мере до Лиона и оставаться при нем до тех пор, пока я буду ему нужен. Впоследствии она призналась мне, что желание отдалить меня от Вантюра сильно способствовало этому решению. Она посоветовалась со своим верным слугой Клодом Анэ о перевозке ящика. Он был того мнения, что, вместо того чтоб нанимать в Аннеси вьючное животное, которое неизбежно выдало бы нас, надо отнести ящик ночью на руках на известное расстояние и потом нанять в деревне осла, чтобы доставить ящик до Сейселя, где, находясь на территории Франции, мы уже ничем не будем рисковать. Его совет был принят, и в тот же вечер, в семь часов, мы отправились; маменька под предлогом оплаты моих издержек наполнила кошелек бедного «котенка» далеко не лишним для него прибавлением. Клод Анэ, садовник и я кое-как дотащили ящик до ближайшей деревни, где нас сменил осел, и в ту же ночь мы отправились в Сейсель.

Я, кажется, уже упоминал о том, что по временам бываю так мало похож на самого себя, что меня можно принять за другого человека, с характером, прямо противоположным моему собственному. Сейчас придется рассказать как раз о таком случае. Г-н Рейдле, кюре в Сейселе, был каноником св. Петра, – следовательно, знал Леметра, и от него-то последний должен был больше всего скрываться. Вместо того я посоветовал Леметру пойти представиться ему и под каким-нибудь предлогом попросить у него крова, как будто мы прибыли туда с разрешения капитула. Эта идея, придавшая мести Леметра насмешливый и забавный оттенок, пришлась ему по вкусу. И вот мы нахально явились к г-ну Рейдле, который принял нас очень хорошо. Леметр заявил, что по просьбе епископа направляется в Белле управлять хором во время праздника Пасхи и рассчитывает вернуться через несколько дней, а я, чтобы поддержать эту басню, сплел целую сотню новых, настолько правдоподобных, что г-н Рейдле, находя меня красивым мальчиком, отнесся ко мне благосклонно и обласкал меня. Нас хорошо накормили и уложили спать. Г-н Рейдле не знал, чем только угодить нам, и мы расстались лучшими друзьями, дав обещание остановиться у него подольше на обратном пути. Мы еле могли дождаться минуты, когда останемся одни, чтобы разразиться хохотом, и, признаюсь, при одном воспоминании об этом меня снова разбирает смех, так как невозможно представить себе проделки более удачной и лучше разыгранной. Она увеселяла бы нас всю дорогу, если б только с Леметром, не перестававшим пить и нести околесицу, не случилось два или три припадка, к которым у него была склонность и которые очень напоминали падучую. Это поставило меня в затруднительное положение, очень меня испугавшее, и мне захотелось любым способом поскорее выпутаться из него.

Мы, как и сказали г-ну Рейдле, отправились в Белле провести праздник Пасхи и, хотя нас там не ждали, были встречены учителем музыки и приняты всеми с большой радостью. Г-н Леметр пользовался вполне заслуженным уважением за свое искусство. Учитель музыки в Белле счел за честь для себя познакомиться с лучшими своими произведениями и постарался снискать одобрение такого хорошего судьи, так как Леметр был не только знатоком, но и человеком справедливым, чуждым зависти и лести. Он был настолько выше всех провинциальных учителей музыки, что они, сами хорошо понимая это, видели в нем скорее своего главу, чем собрата.

Проведя очень приятно четыре или пять дней в Белле, мы отправились дальше и продолжали свой путь без всяких приключений, кроме тех, о которых я только что говорил. Прибыв в Лион, мы расположились в Нотр-Дам-де-Питье<sup>178</sup> в ожидании нашего ящика, который мы послали водой по Роне, пустив в ход другую выдумку и воспользовавшись при этом услугами нашего доброго покровителя Рейдле. Леметр отправился навестить своих знакомых, в том числе отца Катона, монаха кордельера, о котором мне еще придется говорить, и аббата Дортана, графа Лионского. Тот и другой приняли его хорошо; но они же и предали его; после г-на Рейдле счастье ему изменило.

Через два дня после нашего прибытия в Лион, когда мы проходили по маленькой улочке, недалеко от нашей гостиницы, с Леметром сделался припадок, и на этот раз такой сильный, что я пришел в ужас. Я принялся кричать, звать на помощь, назвал гостиницу и умолял, чтобы его перенесли туда; и вот, когда чужие люди толпились и хлопотали возле человека, упавшего без сознания и с пеной у рта посреди улицы, он был покинут единственным другом, на которого должен был рассчитывать. Я воспользовался минутой, когда никто обо мне не думал, повернул за угол и скрылся. Слава богу, вот я сделал третье мучительное признание. Если бы мне оставалось еще много подобных, я бросил бы начатый труд.

Некоторые следы того, о чем я рассказывал до сих пор, еще сохранились в местах, где я жил, но то, о чем я буду говорить в следующей книге, почти целиком неизвестно. Вот самые большие сумасбродства в моей жизни, и счастье, что они еще не так плохо кончились. Но моя голова, настроенная на лад чужого инструмента, вышла тогда за пределы своего диапа-

зона; она вернулась в них сама собой; и тогда я прекратил свои безумства или по крайней мере стал совершать другие, более свойственные моей природе. Об этой эпохе моей юности у меня сохранилось самое смутное воспоминание. В то время не произошло почти ничего, настолько интересного для моего сердца, чтобы я мог живо воспроизвести воспоминание об этом; очень трудно при таких постоянных передвижениях, при такой частой перемене обстановки не сделать каких-либо ошибок во времени и месте. Я пишу исключительно по памяти, не пользуясь никакими вещественными или письменными материалами, которые могли бы мне напомнить ту эпоху. Иные события моей жизни так живо представляются мне, будто они только что произошли; но некоторые пробелы и промежутки я могу заполнить только при помощи рассказов, столь же смутных, как и те воспоминания, которые у меня остались об этом времени. Таким образом, я мог не раз допустить ошибки, и я буду делать их в пустяках вплоть до того времени, о котором у меня сохранились более отчетливые воспоминания; но я уверен, что во всем действительно важном для моей темы я буду точным и постараюсь быть правдивым, как всегда; на это можно твердо рассчитывать.

Едва я покинул Леметра, решение мое было принято, – и я отправился в Аннеси. Причина и таинственность нашего отъезда заставляли меня придавать большое значение безопасности нашего убежища; забота об этом поглощала меня целиком в течение нескольких дней и отвлекала от мысли о возвращении; но после того как сознание безопасности немного успокоило меня, господствующее чувство заняло вновь свое место. Ничто меня не привлекало, ничто не соблазняло, мной владело только одно желание – снова вернуться к маменьке. Нежность и искренность моей привязанности к ней с корнем вырвали из моего сердца все фантастические проекты, все безумства честолюбия. Я не мог представить себе иного счастья, кроме счастья жить подле нее, и я не мог сделать ни шага, не почувствовав, что удаляюсь от него. И вот я опять вернулся туда, лишь только это стало возможным. Мое возвращение было так поспешно, и я так мало замечал окружающее, что, хотя я с таким удовольствием вспоминаю все другие свои путешествия, у меня не сохранилось ни малейшего воспоминания об этом; я не помню о нем ничего, кроме моего отъезда из Лиона и прибытия в Аннеси. Пусть судят, мог ли этот последний момент выпасть из моей памяти! Прибыв в Аннеси, я не нашел там г-жи де Варане: она уехала в Париж.

Для меня навсегда осталась тайной причина этой поездки. Она открыла бы мне ее – я твердо убежден в этом, – если б я настаивал, но никогда не было человека, менее меня проявлявшего любопытство к тайнам своих друзей; мое сердце, занятое исключительно настоящим, заполнено им все целиком, и, кроме прошлых радостей, составляющих теперь единственную мою отраду, в нем не остается ни одного пустого уголка для того, чего больше нет. Из того немногочисленного, что она сообщила мне, я как будто уловил, что после переворота в Турине, вызванного отречением сардинского короля<sup>{79}</sup>, она боялась быть забытой и решила попробовать при помощи интриг г-на д'Обона добиться тех же преимуществ при французском дворе; по ее словам, она даже предпочла бы покровительство последнего, так как там множество важных дел, и ее не стали бы держать под таким неприятным присмотром. Очень странно, однако, что по ее возвращении ей не оказали дурного приема и она всегда пользовалась своей пенсией без всякого перерыва. Многие полагали, что на нее была возложена некая секретная миссия или епископом, имевшим тогда дела при французском дворе, куда он и сам вынужден был выехать, или кем-нибудь еще более могущественным, кто мог обеспечить ей благополучное возвращение. Если все это правда, то выбор посланницы можно считать безусловно удачным: она была еще молода, красива и обладала всеми способностями, необходимыми для того, чтобы справиться с таким поручением.

## Книга четвертая (1730–1731)

Приезжаю и уже не застаю ее. Пусть представят себе мое удивление и горе! Вот когда я почувствовал раскаянье, что так предательски покинул Леметра. Но оно стало еще острее, когда я узнал о постигшем его несчастье. Ящик с нотами, заключавший в себе все его богатство, – драгоценный ящик, спасенный ценою таких усилий, – по прибытии в Лион был захвачен стараниями Дортана, уведомленного, по распоряжению женеvского капитула, о тайном похищении. Напрасно требовал Леметр, чтобы ему вернули его имущество – средство к существованию, труд всей его жизни. Собственность на этот ящик могла бы быть установлена хотя бы судом; его не было. Дело было решено в одно мгновение законом сильнейшего, и, таким образом, бедный Леметр лишился плодов своего таланта, труда всей своей молодости и обеспечения на старость.

Налицо было все, чтобы сделать полученный мною удар сокрушающим. Но я был в том возрасте, когда даже большие неприятности не подавляют, и скоро я принялся изобретать себе утешения. Я рассчитывал в недалеком будущем получить какие-нибудь известия от г-жи де Варане, хотя не знал ее адреса, а она не была осведомлена о моем возвращении. Что касается моего дезертирства, то, взвесив все, я не считал его в конце концов таким преступным. Я был полезен г-ну Леметру во время его бегства, – вот единственная услуга, которую я мог ему оказать.

Если б я остался с ним во Франции, я не вылечил бы его, не спас бы его ящика, а только удвоил бы его расходы, не имея возможности принести ему никакой пользы. Вот как смотрел я тогда на это дело. Теперь смотрю иначе. Дурной поступок мучает нас не тогда, когда он только что совершен, а когда спустя долгое время вспоминаешь его, потому что память о нем не угасает.

Единственно, что я мог предпринять, чтобы получить известия о маменьке, это ожидать их. Где же было искать ее в Париже и на какие средства совершить путешествие туда? Не было места более верного, чем Аннеси, чтобы рано или поздно узнать, где она. И я остался там. Но вел я себя довольно плохо. Я не пошел к епископу, который оказал мне покровительство и мог оказать его в дальнейшем: возле него не было моей заступницы, и я боялся выговора за наше бегство. Тем более не пошел я в семинарию: г-на Гро там уже не было. Я не повидался ни с кем из своих знакомых, и хотя мне очень хотелось посетить жену интенданта, я не осмелился пойти к ней. Я сделал нечто худшее: разыскал Вантюра, о котором, несмотря на все свое восхищение, с самого отъезда ни разу даже не вспомнил. Он стал блестящим баловнем всего Аннеси; среди дам он был нарасхват. Такой успех окончательно вскружил мне голову; я виделся только с г-ном Вантюром, и он заставил меня почти забыть о г-же де Варане. Чтобы пользоваться его уроками с большим удобством, я предложил ему разделить со мной его жилье; он согласился. Квартировал он у сапожника, забавного человека, большого шутника, называвшего жену не иначе как «неряха», – прозвище вполне заслуженное. У него происходили с ней стычки, которые Вантюр старался продлить, делая вид, будто добивается обратного. Он говорил им холодным тоном, с провансальским акцентом, слова, производившие чрезвычайный эффект; от этих сцен можно было помереть со смеху. Таким образом, утро проходило незаметно; в два или три часа мы закусывали, Вантюр отправлялся к своим знакомым, где и ужинал, а я шел один гулять, размышляя о его великих достоинствах и проклиная свою злосчастную звезду, не призывавшую меня к той же счастливой жизни. Как плохо я в этом разбирался! Моя жизнь была бы во сто крат более радостной, если б я был не так глуп и умел лучше наслаждаться ею. Г-жа де Варане взяла с собой только Клода Анэ; она оставила дома свою горничную Мерсере, о которой я уже упоминал, и та по-



прежнему занимала помещение своей хозяйки. М-ль Мерсере, немного постарше меня, была девушка не то чтобы красивая, но довольно приятной наружности, бесхитростная, добродушная уроженка Фрибура; я не знал за ней других недостатков, кроме того, что она порой бывала строптива со своей госпожой. Я довольно часто заходил к ней; это была старая знакомая, напоминая мне более дорогое существо, и это заставляло меня любить ее. У нее было несколько подруг, между прочим некая м-ль Жиро, уроженка Женевы, которой я, как на грех, понравился. Она постоянно упрашивала Мерсере привести меня с собой; я давал себя увлечь потому, что хорошо относился к м-ль Мерсере, и потому, что там бывали и другие молодые девушки, с которыми мне было приятно встречаться. М-ль Жиро всячески заигрывала со мной, но невозможно передать, какое великое отвращение я питал к ней. Когда она приближала к моему лицу свою сухую черную физиономию, перепачканную в испанском табаке, я еле сдерживался, чтобы не плюнуть. Но я вооружался терпением: если б не она, мне было бы очень хорошо среди всех этих девушек; для того ли, чтобы подслужиться к м-ль Жиро, или ради меня самого, они все наперебой баловали меня. Я видел во всем этом только дружеское расположение. Впоследствии я сообразил, что от меня самого зависело получить нечто большее; но в то время это не приходило мне в голову.

К тому же портнихи, горничные, продавщицы не прельщали меня – мне нужны были барышни. У каждого свои причуды; такова была моя; на этот счет я другого мнения, чем Гораций. Однако меня влечет не тщеславие, а чувственность, – более свежий цвет лица, более красивые руки, более изящный наряд, общее впечатление утонченности и чистоты во всей внешности, больший вкус в манере одеваться и в выражениях, более изысканное и лучше сшитое платье, более изящная обувь, ленты, кружева, более удачная прическа. Я всегда отдам предпочтение женщине менее красивой, но имеющей больше всего этого. Я сам нахожу это предпочтение смешным, но мое сердце отдает его помимо моей воли.

И вот эти преимущества снова были налицо, и от меня зависело воспользоваться ими. Как радостно мне время от времени снова воскресить в памяти приятные мгновенья моей молодости! Они были так сладостны! Они были так кратки, так редки, и я наслаждался ими, так мало платя за это! Ах, одно воспоминание о них еще пробуждает в моем сердце чистую радость, необходимую для того, чтобы снова придать мне бодрости и помочь мне переносить невзгоды на склоне моих дней.

Однажды утром заря показалась мне такой прекрасной, что, наскоро одевшись, я поспешил выбраться за город, чтобы полюбоваться восходом солнца. Я наслаждался этим зрелищем во всем его очаровании. Это было через неделю после Иванова дня. Земля, надевшая самый пышный свой наряд, была покрыта травой и цветами; соловьи, перед тем как совсем прекратить свое пение, как будто нарочно распевали особенно громко; все птицы, хором прощаясь с весной, славили рождение прекрасного летнего дня, одного из тех, каких уже не увидишь в моем возрасте и каких никогда не видели в унылой местности, где я теперь живу.

Я не заметил, как удалился от города; жара усиливалась, и я прогуливался под тенью деревьев в небольшой долине, где протекал ручей. Вдруг я услышал позади себя стук лошадиных копыт и девичьи голоса; девушки, казалось, попали в затруднительное положение, но тем не менее смеялись от души. Оборачиваюсь: меня называют по имени; подхожу и вижу двух знакомых мне молодых особ, м-ль де Графенрид и м-ль Галлей, которые, не будучи особенно искусными наездницами, не знали, как заставить своих лошадей перейти через ручей. М-ль де Графенрид была уроженка Берна, молодая, очень милая девица. Вследствие какого-то легкомысленного поступка, свойственного ее возрасту, она была выброшена за пределы своей родины и последовала примеру г-жи де Варане, у которой я иногда встречал ее. Не обеспеченная, однако, никакой пенсией, она обрадовалась возможности пристроиться к м-ль Галлей; последняя сразу почувствовала к ней дружеское расположение, упросила свою мать пригласить ее в качестве компаньонки, пока ее не удастся куда-нибудь устроить. М-

ль Галлей была на год моложе и еще милевиднее; в ней было что-то более нежное, более утонченное: она была хрупкая, но в то же время сформировавшаяся, и находилась в расцвете девической красоты. Они нежно любили друг друга, и хороший характер обеих сулил их дружбе долговечность, нарушить которую мог бы только какой-нибудь возлюбленный. Они рассказали мне, что едут в Тун, старинный замок, принадлежащий г-же Галлей.

Они умоляли меня помочь им, так как сами не могли справиться с лошадьми и заставить их перейти ручей. Я хотел было прибегнуть к хлысту, но они испугались, что я пострадаю от ударов копыт, а они сами от неожиданных скачков.

Тогда я придумал другой способ: я взял за повод лошадь м-ль Галлей и, ведя ее за собой, перешел ручей по колена в воде; другая лошадь послушно последовала за первой. Покончив с этим делом, я хотел, как дурак, раскланяться с барышнями и идти своей дорогой. Они вполголоса перекинулись несколькими словами, и м-ль де Графенрид произнесла, обращаясь ко мне: «Нет, нет! От нас так легко не отделаешься. Вы вымокли, желая оказать нам услугу, и мы, по совести, должны позаботиться о том, чтобы вы могли как следует обсушиться. Извольте идти с нами, – мы берем вас в плен». Сердце мое билось, я смотрел на м-ль Галлей. «Да, да, – прибавила она, смеясь над моим испуганным видом, – вы наш пленник: садитесь на лошадь позади моей подруги, мы хотим рассчитаться с вами». – «Но, сударыня, я не имел чести быть представленным вашей матушке: что она скажет, увидев меня?» – «Ее матери нет в Туне, – перебила м-ль де Графенрид. – Мы одни. В город вернемся сегодня вечером, и вы вернетесь с нами».

Эти слова подействовали на меня как электрический ток. Задрожав от радости, я кинулся к лошади м-ль де Графенрид, а когда пришлось обхватить наездницу руками, чтобы не соскользнуть с седла, сердце мое забилося так сильно, что она это заметила; она сказала мне, что боится упасть, сердце у нее тоже бьется; принимая во внимание обстановку, это было почти приглашением проверить сказанное на деле. Но я не осмелился, и во время всего переезда обе руки мои служили ей поясом, – правда, довольно тугим, но ни на минуту не изменившим своего положения. Иная женщина, прочтя это, охотно надавала бы мне пощечин и была бы права.

Веселое путешествие и болтовня девушек сделали меня до такой степени разговорчивым, что до самого вечера и во все время, пока мы были вместе, мы не умолкали ни на минуту. Они привели меня в такое хорошее настроение, что мой язык говорил столько же, сколько мой взгляд, хоть и не то же самое. Только изредка, на несколько секунд, пока я находился наедине с той или другой из них, беседа становилась несколько более принужденной, но отлучавшаяся быстро возвращалась, не давая нам времени рассеять замешательство.

По приезде в Тун, после того как я просушил свою одежду, мы позавтракали. Затем нужно было перейти к важному занятию приготовления обеда. Стряпая, девушки время от времени целовали детей арендаторши, а бедный поваренок только смотрел на них, не говоря ни слова. Провизию прислали из города, и было из чего приготовить прекрасный обед, особенно по части лакомства; но, к сожалению, позабыли о вине. Эта забывчивость не удивила девушек, которые вовсе его не пили, но мне было досадно, так как я немного рассчитывал на это средство, чтобы придать себе смелости. Им это тоже было неприятно, – может быть, по той же причине, но я этого не думаю. Их оживление и очаровательная веселость были воплощением невинности, да и на что я им был один на двоих? Они послали поискать вина в окрестностях, но его нигде не нашлось – настолько трезвы и бедны жители этого кантона. Когда барышни высказали мне свое сожаление по этому поводу, я попросил их не огорчаться, заявив, что они и без вина опьяняют меня. Это была единственная любезность, которую я осмелился сказать им за целый день, но, мне думается, плутовки отлично видели, что она соответствует действительности.

Мы обедали в кухне арендаторши; подруги сидели на скамейках по обе стороны длинного стола, а их гость – между ними, на трехногой табуретке. Что это был за обед! Какое очаровательное воспоминание! Зачем, имея возможность без всякого ущерба наслаждаться такими чистыми и подлинными радостями, желать других? Никакой ужин в парижских ресторанах не может сравниться с этим обедом, – я говорю не только о веселье, о тихой радости, но также о самом удовольствии от еды. От обеда мы кое-что сэкономили: вместо того чтобы выпить кофе, оставшийся у нас от завтрака, мы приберегли его, чтобы полакомиться им со сливками и пирожными, которые они привезли с собой, а чтобы не дать нашему аппетиту заглохнуть, мы отправились в сад закончить нашу трапезу вишнями. Я влез на дерево и кидал им пригоршни вишен, а они сквозь ветви бросали в меня косточками. Раз м-ль Галлей, протянув фартук и откинув голову, стала так удобно, а я прицелился так метко, что одна пригоршня попала прямо ей на грудь. Сколько было смеху! Я говорил себе: «Зачем мои губы – не вишни! С каким наслаждением они коснулись бы ее груди!»

День прошел в шалостях, совершенно непринужденных, но чуждых всякой непристойности. Ни одного двусмысленного слова, ни одной рискованной шутки; и это соблюдение приличий вовсе не было преднамеренным: оно создавалось само собой, мы усваивали тон, который диктовали нам наши сердца. Одним словом, моя скромность (иные скажут – моя глупость) была такова, что самая большая вольность, которую я себе позволил, заключалась в том, что я один-единственный раз поцеловал руку м-ль Галлей. Правда, обстоятельства придавали этой незначительной милости с ее стороны особую цену. Мы были одни, я задыхался от волнения, ее глаза были опущены; я не находил нужных слов, но дерзнул прильнуть губами к ее руке; она тихонько отвела руку после моего поцелуя, бросив на меня ничуть не гневный взгляд. Не знаю, что я мог бы сказать ей: вошла ее подруга, в это мгновение показавшая мне некрасивой.

Наконец они вспомнили, что не следует дожидаться ночи для возвращения в город. У нас едва оставалось достаточно времени, чтобы вернуться засветло, и мы поспешили тронуться в путь в том же порядке, как приехали. Если б я посмел, я изменил бы этот порядок, так как взгляд м-ль де Галлей живо затронул мое сердце; но я не осмелился ничего сказать, а она, конечно, не могла предложить это. В пути мы жалели о том, что день кончился, но нисколько не жаловались на то, что он был короток, – напротив, мы считали, что нам удалось сделать его долгим при помощи тех развлечений, которыми мы заполнили его.

Я покинул их недалеко от того самого места, где они встретили меня. С каким сожалением мы расстались! С каким удовольствием намечали новую встречу! Двенадцать часов, проведенных вместе, равнялись для нас целым столетиям близкого знакомства. Сладкое воспоминание об этом дне не было связано для этих милых девушек ни с каким ущербом, нежное единение, царившее между нами троими, не уступало в наших глазах более острым наслаждениям и не могло бы с ними ужиться. Мы любили друг друга без тайн и стыда и хотели и впредь любить друг друга такой любовью. В невинных отношениях есть своя доля сладострастия, которое не уступает другому его виду, так как не знает перерывов и длится долго. Что касается меня, то я знаю, что память об этом прекрасном дне трогает, очаровывает меня и более свежа в моем сердце, чем воспоминание о других радостях, когда-либо испытанных мной. Я сам не знал как следует, чего хотел от этих двух прелестных девушек, но обе очень привлекали меня. Я не говорю, что, если б это от меня зависело, разделил бы свое сердце: я чувствовал, что в нем уже возникло предпочтение. Я считал бы за счастье иметь любовницей м-ль де Графенрид; однако если бы я мог выбирать, то предпочел бы иметь ее наперсницей. Как бы то ни было, когда я расставался с ними, мне казалось, что я не могу жить без той и без другой. Кто сказал бы мне, что я больше никогда в жизни не увижу их и что наша эфемерная любовь кончится на этом!

Те, кто это прочтет, посмеются, конечно, над моими любовными приключениями, увидев, что после долгих предисловий самые смелые из них кончатся поцелуем руки. О мои читатели! Не заблуждайтесь! Любовь, завершившаяся поцелуем руки, приносила мне, быть может, больше радостей, чем вы когда-нибудь испытаете от своей любви, начав по меньшей мере с этого.

Вантюр, который накануне лег спать очень поздно, вернулся вскоре после меня. На этот раз я увидел его с меньшим удовольствием, чем обыкновенно, и поостерегся сообщить ему, как провел день. Барышни отзывались о нем весьма неуважительно и, казалось, были недовольны, что я попал в такие дурные руки; это повредило ему в моем мнении; да и все, что отвлекало меня от них, не могло быть мне приятным. Однако он скоро привлек мое внимание к себе и ко мне самому, заговорив о моем положении. Оно было весьма критическим и не могло долго продолжаться. Хотя я тратил очень мало, мои скромные сбережения подходили к концу: я оставался без всяких средств. От маменьки не было никаких известий; я не знал, что делать, и сердце мое больно сжималось при мысли, что друг м-ль Галлей доведен до нищеты.

Вантюр сказал мне, что говорил обо мне с помощником сенешаля<sup>{80}</sup> и хочет завтра пойти со мной к нему: помощник сенешаля может быть мне полезен через своих друзей; вообще это хорошее знакомство – человек он умный и начитанный, очень приятный в общении, у него есть кое-какие таланты, и он умеет ценить их в других. Потом, по своему обыкновению, примешивая легкомысленный вздор к самым серьезным вопросам, Вантюр показал мне забавный куплет, полученный из Парижа, на мотив из оперы Муре, шедшей в то время. Этот куплет так понравился г-ну Симону (так звали помощника сенешаля), что он захотел сочинить в ответ такой же и на тот же мотив. Он велел Вантюру тоже написать такой куплет, а тому пришла в голову шальная мысль заставить меня сочинить третий, – по его словам, для того, чтобы увидеть на другой день появление этих куплетов, подобно носилкам в «Комическом романе»<sup>{81}</sup>.

Ночью мне не спалось, и я написал куплет как сумел. Для первых стихов, когда-либо сочиненных мной, они были вполне сносны, во всяком случае, с большим вкусом сложены, чем если б я написал их накануне, так как темой их были очень нежные отношения, к которым мое сердце было теперь так расположено. Утром я показал свой куплет Вантюру; он одобрил его и положил в карман, не сказав мне даже, сочинил ли сам то, что ему полагалось. Мы пошли обедать к Симону, который хорошо принял нас. Беседа была интересная, да и не могла быть иной, так как вели ее два умных человека, которым к тому же чтение пошло впрок. Что касается меня, то я исполнял свою роль: слушал и молчал. Ни тот ни другой не говорили о куплетах; я тоже молчал об этом, и, насколько мне известно, о моем произведении речь так и не заходила.

Г-н Симон, видимо, остался доволен моими манерами: это едва ли не все, что он заметил во мне за это свидание. Он уже несколько раз встречал меня до того у г-жи де Варане, но не обращал на меня особенного внимания. Таким образом, я могу считать именно этот обед началом нашего знакомства, и хотя оно не принесло мне никакой пользы для достижения той цели, ради которой я его завел, впоследствии я извлек из него немало других выгод и с удовольствием вспоминаю о нем.

Я поступил бы неправильно, если б не упомянул о его наружности, потому что при его судейском звании и остроумии, которым он любил щегольнуть, трудно было бы представить ее себе, если б я умолчал об этом. Помощник сенешаля Симон был ростом не выше двух футов. Его ноги, прямые, тонкие и даже довольно длинные, значительно увеличили бы его рост, если бы были вертикальны; но дело в том, что они были расставлены вкось, как ножки широко раздвинутого циркуля. Туловище у него было не только короткое, но и тощее и во всех отношениях невероятно малых размеров. Голый, он, наверно, был очень похож

на кузнечика. Черты лица были у него правильные, благородные, глаза довольно красивые, голова нормальной величины и казалась чужой, словно ее насадили на обрубок. Он мог не тратиться на нарядное платье, так как его большой парик одевал его с головы до ног.

У него было два голоса, совершенно различных, которые постоянно перемежались во время разговора, представляя контраст, сначала очень забавный, но скоро становившийся очень неприятным. Один был важный и звучный, – это был, если смею так выразиться, голос его головы. Другой, высокий, резкий и пронзительный, был голосом его туловища. Когда он прислушивался к себе, говорил не спеша, берег дыхание, он мог говорить все время низким голосом; но как только он увлекался и начинал говорить с жаром, голос его становился похожим на свист в ключ, и ему стоило громадных усилий снова заговорить басом.

При такой наружности, описанной мною без всякого шаржа, г-н Симон был галантен, большой мастер говорить любезности и доводил до кокетства заботу о своем наряде. Стремясь показаться людям в выгодном для себя положении, он охотно давал утренние аудиенции, лежа в постели, так как никто, видя на подушке красивую голову, не подумал бы, что, кроме головы, больше ничего нет. Это давало повод к сценам, о которых, вероятно, помнит еще весь Аннеси.

Однажды утром, когда он ожидал просителей, лежа в постели или, вернее, возлежа на ней, в нарядном ночном чепце, очень тонкого полотна и очень белом, украшенном двумя большими буфами из розовых лент, – является крестьянин. Стучится в дверь. Служанки в комнате не было. Г-н Симон, услышав повторный стук, крикнул: «Войдите», и этот возглас, довольно громкий, прозвучал визгливо. Крестьянин входит, старается разобрать, откуда исходит этот женский голос, видит в постели чепец, банты и хочет удалиться, принеся даме свои извинения. Г-н Симон сердится и принимается кричать еще пронзительней. Крестьянин, еще более убежденный в правильности своего предположения и считая себя оскорбленным, начинает ругать обидчицу, – говорит, что она, видно, просто потаскушка и что г-н помощник сенешаля подает у себя в доме плохие примеры. Разъяренный г-н сенешаль, не имея под рукой другого оружия, кроме ночного горшка, уже готов был пустить его в голову бедного малого, но тут вошла домоправительница.

Этот карлик, столь жестоко обездоленный природой в отношении внешности, получил возмещение со стороны ума: его ум был тонок от природы, и он постарался украсить его. Он считался хорошим юристом, но не любил своего ремесла. Он пустился в изящную литературу и достиг здесь некоторого успеха. Он усвоил себе из нее главным образом блестящую форму, красоту слова, придающую приятность всякой беседе, даже с женщинами. Он знал наизусть все остроты, помещаемые в сборниках шуток и каламбуров, и умел удачно их преподнести, передавая интересно, таинственно и как недавнее происшествие то, что случилось лет шестьдесят тому назад. Он знал музыку и недурно пел низким, мужским голосом, – словом, обладал разнообразными талантами, необычными для судьбы. Умея угождать дамам Аннеси, он вошел среди них в большую моду: они держали его при себе, как маленькую ручную обезьяну. Он претендовал даже на настоящий успех, и это очень их забавляло. Некая г-жа Эпаньи говорила, что высшею милостью для него было поцеловать женщине колено.

Так как он читал много хороших книг и охотно говорил о них, беседа с ним была не только интересна, но и поучительна. Впоследствии, когда я вошел во вкус научных занятий, я дорожил знакомством с ним, и оно было мне на пользу. Иногда я ходил к нему из Шамбери, где жил в то время.

Он хвалил и поощрял мое рвение и давал мне хорошие советы по части выбора книг, нередко очень дельные. К несчастью, в этом тщедушном теле таилась очень чувствительная душа. Несколько лет спустя с ним случилась какая-то неприятная история, которая огорчила его, и он от этого умер. Мне его жаль; он был безусловно хороший человек; обычно над ним сначала смеялись, но в конце концов привязывались к нему. Хотя жизнь его была мало

связана с моей, я получил от него полезные уроки и считаю себя вправе из чувства благодарности посвятить ему краткое воспоминание.

Как только я освободился, я побежал на ту улицу, где жила м-ль Галлей, льстя себя надеждой, что увижу, как кто-нибудь войдет или выйдет, или хотя бы откроется окно. Не тут-то было! Не появилось ни души; и за все время, что я стоял там, дом оставался запертым, как будто в нем никто не жил. Улица была небольшая и пустынная, человека сразу можно было на ней заметить; время от времени кто-нибудь проходил или выходил из дома поблизости. Меня очень смущал мой вид: мне казалось, что все замечают, для чего я стою здесь, и эта мысль терзала меня, так как я всегда предпочитал своим удовольствиям честь и спокойствие тех женщин, которые были мне дороги.

Наконец, устав изображать влюбленного испанца и не имея гитары, я решил пойти домой и написать м-ль де Графенрид письмо. Я предпочел бы написать ее приятельнице, но не осмеливался: приличия требовали, чтобы я обратился сначала к тому, кому был обязан знакомством с интересовавшей меня особой и кого я лучше знал. Написав письмо, я отнес его к м-ль Жиро, как было условлено между нами при прощании. Они сами указали мне этот путь. М-ль Жиро была вышивальщица и, так как работала иногда у г-жи Галлей, имела свободный доступ к ней в дом. Выбор посредницы казался мне не особенно удачным, но я боялся, что, возражая против этой, не получу взамен другой. Кроме того, я не посмел сказать, что она не прочь действовать в своих собственных интересах. Мне казалось оскорбительным, что она может считать себя в моих глазах представительницей того же пола, что и эти барышни. Наконец я предпочитал этот способ передачи отсутствию всякого другого и решил пойти на риск.

Жиро с первого слова угадала, в чем дело: это было нетрудно. Если бы даже письмо, предназначенное для молодых девушек, не говорило само за себя, мой глупый и смущенный вид тотчас выдал бы меня. Понятно, что это поручение доставляло ей не слишком большое удовольствие, однако она согласилась и выполнила его добросовестно. На следующее утро я побежал к ней и получил ответ, уже ожидавший меня. Как я торопился уйти, чтобы читать и целовать его вволю! Об этом нет нужды говорить. Но заслуживает быть отмеченным поведение м-ль Жиро: она проявила больше деликатности и скромности, чем я мог бы от нее ожидать. Имея достаточно здравого смысла, чтобы понять, что при ее тридцатисемилетнем возрасте, заячьих глазах, запачканном носе, резком голосе и черной коже она оказалась бы в не особенно выгодном положении рядом с двумя молоденькими девушками, полными прелести и в расцвете красоты, — она не захотела ни предавать их, ни служить им и предпочла потерять меня, чем сохранить для них.

Уже в течение некоторого времени Мерсере, не получая никаких известий от своей хозяйки, подумывала о том, чтобы вернуться во Фрибур; Жиро помогла ей принять окончательное решение. Она сделала больше; она дала ей понять, что хорошо было бы, чтобы кто-нибудь проводил ее к отцу, — и предложила меня в провожатые. Мерсере, которой я тоже не был противен, нашла эту мысль вполне подходящей. Они заговорили со мной об этом в тот же день как о деле решенном; и я, не видя в этой манере распорядиться мной ничего неприятного, согласился, полагая, что путешествие займет не больше недели. Жиро была другого мнения и устроила все. Пришлось признаться в плохом состоянии моих финансов. Об этом нечего было беспокоиться. Мерсере взялась оплатить все мои расходы, а чтобы возместить затрату, было решено, по моей просьбе, что она отправит вперед свой небольшой багаж, мы же не спеша пойдем пешком. Так и сделали.

Мне неловко говорить о том, что столько девушек были в меня влюблены. Но так как я не могу похвастаться, что умел пользоваться этой влюбленностью, то, думается мне, вправе рассказывать всю правду не стесняясь. Мерсере была моложе Жиро, менее опытна и никогда не заигрывала со мной открыто. Но она подражала моему голосу, произношению, повторяла

мои слова, оказывала мне услуги, которые я должен был бы оказывать ей, и, будучи крайне боязливой, очень хлопотала о том, чтобы мы с ней ночевали в одной комнате; при такой близости во время путешествия двадцатилетний юноша и двадцатипятилетняя девушка редко останавливаются на этом.

Однако на этот раз дело этим ограничилось; Мерсере не была лишена привлекательности, но я был так простодушен, что не только не попытался завести с ней любовную интрижку, но даже ни разу не подумал об этом; а если бы такая мысль и пришла мне в голову, я по глупости не сумел бы воспользоваться случаем. Я не представлял себе, как это юноша и девушка доходят до того, чтобы лечь вместе; мне казалось, что нужны века, чтобы подготовить эту страшную комбинацию. Если бедная Мерсере, оплачивая мои расходы, рассчитывала получить от меня что-либо в ответ, она жестоко обманулась, и мы приехали во Фрибур совершенно в тех же отношениях, в каких уехали из Аннеси.

Проезжая через Женеву, я не пошел ни к кому, но мне чуть было не сделалось дурно на мосту. Каждый раз как я видел стены этого города, при входе в него у меня замирало сердце от избытка умиления. В то время как благородное зрелище свободы возвышало мою душу, картина равенства, единения, кротких нравов трогала меня до слез и внушала мне жестокое сожаление о том, что я лишился всех этих благ. Как велико было мое заблуждение, но как оно было естественно! Я воображал, что вижу все это на своей родине, потому что носил это в своем сердце.

Наш путь лежал через Нион. Неужели пройти, не повидавшись с отцом! Если б у меня хватило мужества поступить так, я умер бы от раскаяния. Я оставил Мерсере в гостинице и решился пойти к отцу – будь что будет! Но напрасно я его боялся! В первую же минуту свидания душа его уступила приливу отцовских чувств, которыми она была полна. Сколько слез пролили мы в объятьях друг друга! Сначала он подумал, что я вернулся к нему. Я рассказал ему про свою жизнь и сообщил о своем решении. Он слабо возражал. Он указал мне на опасности, которым я подвергаю себя, говорил, что самые кратковременные увлечения – самые лучшие. Впрочем, он не сделал даже попытки удержать меня силой, и я считаю, что в этом он был прав. Бесспорно, однако, что он не сделал всего, что мог, чтобы вернуть меня, – то ли он считал, что после предпринятого мною шага мне не следует изменять решения, то ли не знал, куда меня пристроить в моем возрасте. Впоследствии мне стало известно, что он составил себе о моей спутнице мнение совершенно несправедливое и очень далекое от истины, но, в сущности, вполне естественное. Моя мачеха, женщина добродушная, немного слащавая, сделала вид, что хочет накормить меня ужином. Я не остался, но сказал, что рассчитываю побыть у них подольше на обратном пути, и оставил им в залог свой маленький сверток, который переслал туда водой и который стеснял меня. На следующее утро я рано пустился в путь, очень довольный тем, что исполнил свой долг, повидавшись с отцом.

Мы благополучно добрались до Фрибура. К концу путешествия заботливость, которой окружала меня м-ль Мерсере, немного уменьшилась. По прибытии она стала выказывать мне холодность, да и отец ее, не утопавший в роскоши, тоже не особенно радушно принял меня; пришлось остановиться в харчевне. На следующий день я снова пошел к ним; они предложили мне пообедать с ними, я не отказался. Мы расстались без слез. Вечером я вернулся в свою харчевню и на второй день по приезде выехал дальше, не имея определенного представления о том, куда намерен направиться.

Вот еще случай в моей жизни, когда провидение посылало мне именно то, что было нужно, чтобы дни мои протекали счастливо. Мерсере была хорошая девушка, не блестящая, не особенно красивая, но и не урод; не слишком живая, очень благоразумная, если не считать случайных вспышек, обыкновенно кончавшихся слезами и никогда не переходивших в бурю. Я действительно нравился ей, легко мог бы на ней жениться и заняться ремеслом ее отца<sup>{82}</sup>. Моя любовь к музыке заставила бы меня полюбить и это ремесло. Я поселился бы

во Фрибуре, некрасивом маленьком городке, населенном, однако, добрыми людьми. Разумеется, я лишился бы больших наслаждений, но прожил бы мирно до своего последнего часа, а мне ли не знать, что перед подобной возможностью нечего было колебаться.

Я вернулся – но не в Нион, а в Лозанну. Мне хотелось полюбоваться прекрасным озером, которое видно оттуда в наибольшем его протяжении. Большая часть моих тайных побуждений всегда была столь же мало обоснованна. Отдаленные перспективы редко обладают достаточной силой, чтобы побуждать меня к действию. Неуверенность в будущем всегда заставляла меня считать не скоро осуществимые замыслы приманкой для дураков. Я увлекаюсь надеждами, как и всякий другой, лишь бы осуществление их ничего не стоило мне; но если для этого нужно долго трудиться – это уже не для меня. Любое маленькое удовольствие, если оно само дается мне в руки, соблазняет меня больше, чем перспектива райского блаженства. Я исключая, однако, то удовольствие, которое влечет за собой страдание: такое меня не прельщает, потому что я люблю только чистые радости, а их нельзя испытать, зная, что готовишь себе раскаяние.

Мне необходимо было добраться куда бы то ни было, и чем ближе, тем лучше, так как, заблудившись в пути, я очутился вечером в Мудоне, где истратил то небольшое, что у меня еще оставалось, кроме десяти крейцеров, да и те израсходовал на следующий день на обед. Придя вечером в небольшую деревню около Лозанны, я вошел в трактир, не имея ни гроша в кармане для уплаты за ночлег и не зная, что дальше делать. Я был очень голоден. Приняв решительный вид, я спросил себе поужинать, как будто мог щедро расплатиться. Потом улегся спать и заснул безмятежным сном. Позавтракав утром и подведя счет с хозяином, я хотел за семь бацев<sup>1831</sup>, составлявших сумму моего расхода, оставить в залог свою куртку. Этот славный человек отказался от нее; он заявил мне, что – благодарение небу! – он еще никогда никого не обирал и не намерен начинать этого из-за семи бацев; пусть куртка останется у меня: я расплачусь с ним, когда у меня будут деньги. Я был тронут его добротой, однако менее, чем следовало бы и чем бываю тронут теперь – всякий раз, как вспоминаю об этом. Я не замедлил при первой же возможности передать ему деньги и благодарность через надежного человека, но пятнадцать лет спустя, проезжая через Лозанну на обратном пути из Италии, я, к искреннему своему сожалению, не мог вспомнить ни названия трактира, ни фамилии трактирщика. Я зашел бы к нему, с удовольствием напомнил бы ему о его великодушном поступке и доказал бы, что его доброта не забыта. Другие услуги, пусть и более существенные, но оказанные с большей кичливостью, не казались мне столь достойными благодарности, как простая и скромная отзывчивость этого честного человека.

Приближаясь к Лозанне, я размышлял о своем бедственном положении и о том, как выпутаться из него, не обнаружив своей бедности перед мачехой; в этом пешем странствии я сравнивал себя со своим приятелем Вантюром, когда он явился в Анниси. Я так увлекся этой мыслью, что, забыв об отсутствии у меня его изящества и талантов, решил изображать в Лозанне Вантюра, давать уроки музыки, как будто я ее знаю, и объявлять себя уроженцем Парижа, где я никогда не был. В Лозанне не было певческой школы, где я мог бы занять место младшего преподавателя, да мне и не хотелось сразу попасть в общество мастеров музыкального искусства; исполнение своего прекрасного замысла я начал с того, что попросил указать мне какое-нибудь скромное пристанище, где можно было бы сносно устроиться за недорогую плату. Мне рекомендовали некоего Пероте, державшего нахлебников. Этот Пероте оказался превосходнейшим человеком и принял меня очень радушно. Я наврал ему о себе, как заранее придумал. Пероте обещал замолвить за меня словечко и постараться достать мне учеников и прибавил, что потребует с меня деньги лишь после того, как я их заработаю. Пансион стоил у него пять эю, – это было, в сущности, немного, так как стол был хороший, но слишком дорого для меня. Он посоветовал мне ограничиться сначала полупансионом, который состоял из тарелки хорошего супа – и только! – на обед и сытного ужина. Я согла-



сил. Бедняга Пероте оказывал мне все эти услуги от самого чистого сердца и ничего не жалел, чтобы быть мне полезным.

Почему должно было случиться, что, встретив в молодости так много добрых людей, я, достигнув зрелого возраста, встречал их так мало? Разве их порода иссякла? Нет, но сословие, в котором я вынужден искать их теперь, уже не то, в котором я встречал их когда-то. В народе сильные страсти проявляются только по временам, и природные чувства чаще всего дают знать о себе. А в более высоких кругах они совершенно заглушены, и под личиной чувства там говорит только расчет или тщеславие.

Из Лозанны я написал отцу, и он прислал мне сверток и письмо, полное превосходных советов, которыми мне следовало бы лучше воспользоваться. Я уже упоминал о минутах необъяснимого безумия, когда я бывал сам на себя не похож. Вот один из наиболее ярких примеров, чтобы понять, до какой степени у меня тогда закружилась голова, до чего я, так сказать, вантюризовался, – достаточно бросить взгляд на то, какие нелепости нагромождал я в это время одну на другую. Вот я учитель пения, хотя не умел разобрать ни одной арии, так как, даже если бы шесть месяцев, проведенных мною с Леметром, и пошли мне впрок, этого, конечно, было бы слишком мало. Кроме того, я учился у композитора, и этого было достаточно, чтобы учиться плохо. Парижанин из Женевы, католик в протестантской стране, я счел необходимым переменить имя, подобно тому как переменял родину и веру. Я изо всех сил старался возможно более походить на человека, которому подражал. Он принял имя Вантюр де Вильнев – я составил анаграмму из фамилии Руссо, переделав ее в Воссор, и стал именоваться Воссор де Вильнев. Вантюр знал композицию, но никогда не говорил об этом ни слова; я же, не имея о ней понятия, хвастал знанием ее перед всеми и, не будучи в состоянии подобрать музыку даже к водевилю, выдавал себя за композитора. Но этого мало: представленный профессору права г-ну де Трейторану, который любил музыку и нередко устраивал у себя концерты, я захотел показать ему образец своего творчества и принялся за сочинение пьесы для его концерта с таким апломбом, как будто знал, как взяться за дело. У меня хватило усидчивости поработать над этим прекрасным произведением две недели, переписать его набело, выписать отдельные партии и распределить их с такой самоуверенностью, словно это был шедевр музыкального искусства. Наконец, – этому трудно поверить, но это правда, – чтобы достойно завершить свое бесподобное произведение, я поместил в конце его хорошенький менуэт, который распевали на улицах, и, может быть, и теперь еще у многих в памяти следующие, всем тогда известные слова:

Не в уме ты!  
 Что за наветы!  
 Как! Любви обеты  
 Кларе не сдержать?..

и т. д.

Вантюр научил меня этой песенке и басовому аккомпанементу к ней, но с другими, непристойными словами, благодаря которым я ее и запомнил. Так вот я пристегнул к концу своего сочинения этот менуэт и аккомпанемент к нему, только выбросив слова, и выдал его за свой так уверенно, как будто имел дело с обитателями Луны.

Вот наконец собрались слушатели и исполнители. Я объясняю каждому особенности темпа, характер исполнения, структуру отдельных мест; проявляю величайшую деловитость. Настройка инструментов длится пять-шесть минут, которые кажутся мне пятью или шестью веками. Наконец, когда все готово, я отстукиваю по своему дирижерскому пульта большим свертком бумаги два-три удара, означающие: «Приготовьтесь!» Наступает тишина. Я с важным видом принимаюсь отбивать такт. Начинается... Нет, с тех пор как существует

французская опера, никто еще не слышал подобной какофонии! Что бы ни думали о моем воображаемом таланте, результат оказался хуже всякого ожидания. Музыкантов душил смех, слушатели вытаращили глаза и рады были заткнуть себе уши, но это не помогло бы. Палачи оркестранты, желая позабавиться, драли кто во что горазд, так что могла лопнуть барабанная перепонка у обитателя «Приюта Трехсот»<sup>1841</sup>. Я имел мужество продолжать, хотя пот лил с меня градом; удерживаемый стыдом, я не осмелился бежать, бросив все на произвол судьбы. В утешение я слышал, как вокруг присутствующие говорили друг другу на ухо, но так, что это доходило и до моих ушей: «Просто невыносимо. Вот так сумасшедшая музыка! Да это дьявольский шабаш!» Бедный Жан-Жак! В эту тяжелую минуту ты, конечно, и не мечтал, что настанет день, когда твоя музыка будет исполняться в присутствии французского короля и его придворных, вызывая гул изумленного восхищения, и во всех ложах самые очаровательные женщины будут говорить друг другу вполголоса: «Какие пленительные звуки! Какая волшебная музыка! Эти мелодии проникают прямо в сердце!»

Но особенно развеселил всех менуэт. Не успели сыграть несколько тактов, как со всех сторон раздались взрывы хохота. Меня поздравляли, хвалили за мой тонкий вкус в напевах, уверяли, что менуэт заставит говорить обо мне и что я заслуживаю того, чтоб мои произведения пелись повсюду. Нет надобности описывать то, что я переживал, ни признаваться, что случившееся было мною вполне заслужено.

На другой день один из моих оркестрантов, по фамилии Люто, зашел ко мне и был так добр, что не поздравил меня с успехом. Глубокое сознание собственной глупости, стыд, раскаяние, отчаянное положение, в которое я был поставлен, невозможность таить в сердце тяжелые заботы – все это заставило меня открыться ему. Я дал волю слезам и, вместо того чтобы признаться только в своем невежестве, рассказал ему все, прося сохранить мою тайну; он дал мне слово молчать, но сдержал свое обещание так, как следовало ожидать. В тот же вечер вся Лозанна знала, кто я такой, и – удивительное дело – никто даже вида не показал, что знает это, – даже добрейший Пероте, который, несмотря ни на что, не отказался по-прежнему давать мне помещение и кормить меня.

Я жил очень печально. Последствия такого дебюта не могли сделать для меня Лозанну приятным местопребыванием. Ученики не валили ко мне толпами, учениц не было ни одной, а горожане вовсе не обращались ко мне. У меня учились только два-три толстых немца, настолько же глупых, насколько я был невежествен; они надоедали мне до смерти и не стали великими знатоками музыки в моих руках. Я был приглашен только в один дом, где девочка – настоящий змееныш – забавлялась тем, что показывала мне разные музыкальные произведения, в которых я не мог разобрать ни одной ноты, – она потом лукаво пела их в присутствии господина учителя, чтобы показать ему, как это исполняется. Я был совершенно не способен прочесть какую-нибудь арию с листа и в блестящем концерте, о котором рассказывал, не мог даже уследить, действительно ли играют то, что у меня перед глазами и что я сам сочинил.

Среди стольких унижений большую и чистую радость доставляли мне вести, приходящие время от времени от двух очаровательных подруг. Я всегда находил в женщинах великую способность утешать, и ничто так не смягчает мои огорчения от невзгод и неудач, как мысль о сочувствии какого-нибудь милого существа.

Однако наша переписка вскоре прервалась и больше уже не возобновлялась, – но это по моей вине. Переехав на новое место, я не сообщил им своего адреса и, вынужденный обстоятельствами постоянно думать о самом себе, вскоре окончательно забыл о них.

Уже давно не говорил я ничего о моей бедной маменьке, но если думают, что я ее тоже позабыл, то это большая ошибка. Я не переставал думать о ней, мечтал снова найти ее, и не только ради средств к существованию, но гораздо более по влечению сердца. Привязанность к ней, как бы она ни была горяча или нежна, не мешала мне любить других, но совсем

иной любовью. Другие женщины завоевывали мою любовь только внешними прелестями, – но такая любовь не пережила бы их увядания; тогда как маменька могла состариться, стать безобразной, но из-за этого я не стал бы любить ее менее нежно. Мое сердце всецело перенесло на ее личность то поклонение, которое сначала принадлежало ее красоте, и какая бы перемена в ней ни произошла, – лишь бы она оставалась сама собой, – мое чувство не могло измениться. Я знал, что был ей многим обязан, но, по правде сказать, не думал об этом. Делала ли она для меня что-нибудь или нет – от этого ничего не менялось. Я любил ее не по чувству долга, не из корысти, не для приличия, – я любил ее потому, что был рожден для этой любви. Когда я влюблялся в какую-нибудь другую женщину, это, признаюсь, до известной степени отвлекало меня, и я реже вспоминал маменьку, но думал я о ней все с тем же удовольствием, и был ли я влюблен или нет, – при мысли о ней я всегда чувствовал, что в разлуке с ней для меня не может быть настоящего счастья.

Не имея от нее так долго никаких известий, я ни разу не подумал, что потерял ее навсегда или что она могла меня забыть. Я говорил себе: «Рано или поздно она узнает, что я бродажничаю, и подаст какие-нибудь признаки жизни; я снова найду ее, – я уверен». А пока для меня уже было радостью жить в ее стране, проходить по улицам, по которым проходила она, мимо домов, где она жила, и все это только по догадке, так как одной из моих нелепых странностей было то, что я не решался без крайней необходимости ни спросить о ней, ни произнести ее имя. Мне казалось, что, называя ее, я открываю свои чувства к ней, что мои уста выдают тайну моего сердца, что я до известной степени компрометирую ее. Я даже думаю, что к этому примешивался страх, как бы мне не сказали о ней чего-нибудь дурного. Много говорили о ее поступке и кое-что о ее поведении. Из боязни услышать не то, что хотел бы, я предпочитал, чтобы о ней не говорили вовсе. Так как ученики отнимали у меня не особенно много времени, а ее родной город был всего в четырех лье от Лозанны, я как-то совершил туда двух– или трехдневную прогулку, в течение которой меня не покидало чувство самого сладостного волнения. Вид Женевского озера и его чудесных берегов всегда имел для меня особую притягательную силу, которой не берусь объяснить, – она зависит не только от красоты пейзажа, но еще от чего-то более захватывающего, что меня трогает и умиляет. Каждый раз как я приближаюсь к кантону Во, я снова испытываю какое-то сложное чувство, порождаемое воспоминаниями о г-же де Варане, которая там родилась, о моем отце, который там жил, о м-ль де Вюльсон, которой я отдал первые порывы своего сердца, о нескольких увеселительных прогулках, совершенных туда в детстве, и, как мне кажется, вызываемое какой-то еще более сокровенной и более глубокой причиной. Я рожден для счастливой и безмятежной жизни, но она вечно ускользала от меня, и когда мечты о ней воспаляют мое воображение, оно всегда стремится в кантон Во, на берег озера, в очаровательную местность. Мне необходим фруктовый сад на берегу именно этого озера, а не другого, мне нужен верный друг, милая женщина, домик, корова и маленькая лодка. Я буду наслаждаться счастьем на земле, только когда буду обладать всем этим. Мне самому смешна наивность, с которой я несколько раз направлялся туда единственно для того, чтобы найти это воображаемое счастье. Я всегда удивлялся, находя там жителей, особенно женщин, совсем другого рода, чем искал. Эта местность и народ, ее населяющий, никогда не казались мне созданными друг для друга.

Во время этой поездки в Веве, блуждая по чудесному побережью, я предавался самой сладкой меланхолии, сердце мое пылко устремлялось к бесчисленным невинным радостям, я умилялся, вздыхал и плакал, как ребенок. Не раз я останавливался, чтобы наплакаться вволю, и, присев на большой камень, смотрел, как слезы мои падают в воду.

В Веве я остановился в гостинице «Ключ» и за два дня, которые прожил там, никого не видя, проникся к этому городу любовью, не покидавшей меня во всех моих путешествиях и заставившей меня в конце концов поселить там героев моего романа. Я охотно сказал бы

людям, обладающим тонким вкусом и чувствительностью: «Поезжайте в Веве, посетите его окрестности, полюбуитесь видами, покатайтесь по озеру и скажите откровенно, не создала ли природа эту живописную местность специально для какой-нибудь Юлии, какой-нибудь Клары, какого-нибудь Сен-Пре<sup>1851</sup>. Но не ищите их там». Возвращаюсь к своему рассказу.

Так как я был католиком и выдавал себя за такового, я открыто и без всякого колебания придерживался того культа, к которому примкнул. По воскресеньям, когда бывала хорошая погода, я ходил к обедне в Ассен, в двух лье от Лозанны. Обычно я совершал этот переход вместе с другими католиками, особенно с одним из них – парижским золотошвеем, фамилии которого не помню. Это был не такой парижанин, как я, а настоящий парижанин из Парижа, архипарижанин, богобоязненный человек, добродушный, как уроженец Шампани. Он так любил свою родину, что ни минуты не сомневался в том, что я его соотечественник, как бы опасаясь лишиться возможности поговорить о ней. У г-на де Круза, заместителя судьи, был садовник, тоже парижанин, но менее любезный, считавший оскорблением для своей родины, если кто-нибудь осмеливался выдавать себя за ее гражданина, не имея чести им быть. Он расспрашивал меня с видом человека, уверенного в том, что может уличить меня, и потом улыбался с хитрым видом. Однажды он спросил меня, что есть замечательного на Новом рынке. Как можно себе представить, я стал молотъ вздор. Теперь, прожив в Париже двадцать лет, я должен был бы знать город; однако, если бы мне сейчас задали тот же вопрос, я, как и тогда, затруднился бы на него ответить, и по моему смущению можно было бы так же заключить, будто я никогда не бывал в Париже: настолько вошло в привычку, даже слыша правду, основывать свое суждение на обманчивых признаках!

Не могу сказать в точности, сколько времени я прожил в Лозанне. Я не сохранил об этом городе никаких особенно ярких воспоминаний. Знаю только, что, не найдя там заработка, я отправился в Невшатель и провел там зиму. В этом городе мне больше повезло: у меня нашлись ученицы, и я зарабатывал достаточно для того, чтобы расплатиться с моим добрым другом Пероте, честно переславшим мне мои скромные пожитки, хотя я ему порядочно задолжал.

Я незаметно учился музыке, преподавая ее. Жизнь моя протекала мирно; благоразумный человек мог бы ею удовлетвориться, но мое беспокойное сердце требовало иного. По воскресеньям и в другие свободные дни я бродил по окрестным полям и лесам, мечтая и вздыхая; выйдя из города, возвращался туда только вечером. Однажды, находясь в Будри<sup>1861</sup>, я зашел пообедать в какой-то трактир. Там я увидел человека довольно благородного вида, с большой бородой, в меховой шапке и в фиолетовом кафтане греческого покроя; его понимали с трудом, так как он говорил на каком-то странном наречии, более похожем на итальянский язык, чем на какой-либо другой. Я понимал почти все, что он говорил, но только я один; с трактирщиком и местными жителями он мог объясняться только знаками. Я сказал ему несколько слов по-итальянски, он прекрасно понял их, встал и пылко обнял меня. Мы быстро подружились, и с этих пор я служил ему переводчиком. Его обед был хорош, мой – ниже среднего; он пригласил меня разделить с ним его трапезу, я не стал церемониться. Беседуя с грехом пополам за стаканом вина, мы окончательно подружились и с тех пор стали неразлучны. Он сообщил, что он греческий прелат и носит чин архимандрита иерусалимского, что ему поручено произвести в Европе сбор на восстановление святого гроба господня. Он показал мне охранные грамоты, данные ему царицей и императором; у него были и другие грамоты от многих коронованных особ. Он был доволен тем, что ему уже удалось собрать; но в Германии ему пришлось столкнуться с невероятными трудностями, так как он не знал ни слова ни по-немецки, ни по-латыни, ни по-французски и мог пользоваться только греческим, турецким и франкским языками; это помешало ему собрать сколько-нибудь обильную лепту в стране, в глубь которой он забрался. Он предложил мне сопровождать его в качестве секретаря и переводчика. Несмотря на недавно купленный лиловый костюм, более или

менее подходивший для моей новой должности, я все же имел вид человека нуждающегося, и он решил, что меня нетрудно будет завербовать; он не ошибся. Мы сразу сговорились: я не требовал ничего, а он сулил много. Без поручительства или обеспечения, без достаточного знакомства я доверился его руководству и уже на следующий день был на пути в Иерусалим. Мы начали наше странствование с Фрибурского кантона, где сбор был невелик. Сан епископа не позволял ему побираться или производить сбор среди частных лиц, но мы представили бумаги о данном ему поручении, и местный сенат пожертвовал ему небольшую сумму. Оттуда мы направились в Берн. Остановились мы в гостинице «Сокол», бывшей тогда в славе; там можно было встретить приличное общество. За столом было много обедающих, и кормили там хорошо. Я давно уже плохо питался; мне необходимо было подкрепиться; случай был удобный, и я им воспользовался. Монсеньор архимандрит был человек хорошо воспитанный, любитель посидеть за столом, веселый, приятный собеседник для тех, кто его понимал, не лишенный некоторых знаний и умевший довольно искусно использовать свою греческую эрудицию. Как-то раз за десертом он колот орехи и очень глубоко порезал себе палец; так как кровь текла в изобилии, он показал свой палец собравшимся и сказал смеясь: «*Mirate signori; questo è sangue pelasgo*»<sup>11</sup>.

В Берне мои услугигодились ему, и я справился со своими обязанностями не так плохо, как сначала того опасался. Я был гораздо смелее и красноречивее, чем в том случае, если бы просил для себя. Но дело оказалось не так просто, как во Фрибуре, – пришлось часто и подолгу вести переговоры с представителями власти; проверка документов тоже заняла не один день. Наконец, когда все было в порядке, он получил аудиенцию в сенате. Я вошел вместе с ним, как переводчик, и мне было предложено взять слово. Это явилось для меня полной неожиданностью: мне и в голову не приходило, что после долгих совещаний с отдельными членами сената я должен буду еще обратиться с речью ко всей корпорации, как будто ничего предварительно говорено не было. Посудите сами, в каком затруднительном положении я очутился! Необходимость выступить не только публично, но еще перед бернским сенатом, к тому же экспромтом, не имея ни минуты для подготовки, – этого было достаточно, чтобы уничтожить такого застенчивого человека, как я. А я даже не смутился, сжато и ясно рассказал о поручении, возложенном на архимандрита. Я восхвалял благочестие государей, внесших лепту в то дело, ради которого он приехал. Стараясь возбудить чувство соревнования в сердцах их превосходительств, я сказал, что нельзя ожидать меньшего и от их обычной щедрости; и потом, стараясь доказать, что это богоугодное дело касается одинаково всех христиан без различия сект, я под конец посулил благословение божие всем, кто пожелает принять в нем участие. Не скажу, чтобы речь моя произвела особенно сильное впечатление, но она, несомненно, понравилась, и при выходе из заседания архимандрит получил очень приличную сумму и вдобавок кучу комплиментов уму его секретаря. Перевести эти комплименты было моей приятной обязанностью, но передать их дословно я не осмелился. Это был единственный раз в жизни, когда я говорил публично и в присутствии высшего правительства, к тому же единственный раз, когда я говорил смело и хорошо. Как меняется состояние духа у одного и того же человека! Три года тому назад, когда я поехал в Ивердон<sup>1871</sup>, в гости к моему давнишнему приятелю Рогену, ко мне явилась депутация, чтобы поблагодарить меня за пожертвование нескольких книг в городскую библиотеку. Швейцарцы – большие любители публичных речей, и господа депутаты обратились ко мне с речью. Я считал своим долгом ответить, но так запутался, в голове у меня так все перемешалось, что я вдруг замолчал, выставив себя на посмешище. Застенчивый от природы, в молодости я иногда бывал смел, но в зрелом возрасте – никогда. Чем больше я видел свет, тем меньше мог приспособиться к его тону.

<sup>11</sup> «Посмотрите, господа, вот какова кровь пелазгов»<sup>14921</sup> (итал.).

Покинув Берн, мы отправились в Солер<sup>{88}</sup>, так как архимандрит имел намерение вернуться в Германию, а затем ехать домой через Венгрию или Польшу. Путешествие предстояло долгое, но так как в пути кошелек его наполнялся быстрей, чем пустел, архимандрит смело сворачивал в сторону. Я же чувствовал себя одинаково хорошо, путешествуя верхом или пешком, и не прочь был путешествовать всю жизнь, но мне на роду было написано не ездить так далеко.

По прибытии в Солер мы первым делом отправились с визитом к французскому посланнику. К несчастью для моего епископа, посланником был маркиз де Бонак, бывший до того посланником в Турции; он должен был быть осведомлен обо всем, касающемся гроба господня. Архимандрит получил десятиминутную аудиенцию, на которую я не был допущен, так как г-н посланник понимал франкский язык и говорил по-итальянски, во всяком случае, не хуже меня. По выходе грека я намеревался последовать за ним, – меня задержали; настал мой черед. Выдав себя за парижанина, я как таковой подлежал юрисдикции его превосходительства. Он спросил меня, кто я такой, уговаривал рассказать всю правду; я обещал, но попросил отдельную аудиенцию, которая и была мне дана. Посланник увел меня в свой кабинет и затворил дверь. Там, упав к его ногам, я сдержал свое слово. Я чистосердечно сказал бы правду, если бы и не обещал ничего, так как благодаря постоянной потребности излить душу у меня всегда что было на уме, то и на языке, и, открывшись с полной доверчивостью музыканту Лютольду, я вовсе не собирался скрытничать перед маркизом де Бонак. Он остался так доволен моим кратким рассказом и сердечностью, с какой я все изложил, что, взяв меня за руку, пошел со мной к своей супруге, представил меня и передал ей вкратце мою повесть. Г-жа де Бонак приняла меня радушно и сказала, что не следует отпускать меня странствовать с этим греческим монахом. Было решено, что я останусь в доме посланника, пока для меня не найдут подходящего занятия. Я хотел пойти проститься со своим бедным архимандритом, к которому успел привязаться, – мне этого не разрешили. Его уведомили о моем аресте, и через четверть часа я увидел свой маленький саквояж. Меня как бы отдали на попечение секретаря посольства г-на де ла Мартиньера. Проводив меня в назначенную для меня комнату, он сказал: «При графе де Люк эту комнату занимал знаменитый человек, ваш однофамилец, – от вас зависит заменить его во всех отношениях и заставить впоследствии говорить: «Руссо Первый<sup>{89}</sup>, Руссо Второй». Это сопоставление, на которое я тогда не смел рассчитывать, меньше польстило бы моему самолюбию, если б я мог представить себе, какой ценой оно в будущем оправдается. Слова г-на де ла Мартиньера возбудили мое любопытство. Я стал читать сочинение того, чью комнату занимал; на основании сделанного мне комплимента я вообразил, что имею призвание к поэзии, и в виде первого опыта сочинил кантату в честь г-жи де Бонак. Однако склонность к поэзии удержалась у меня недолго. Время от времени я сочинял посредственные стихи, – это полезное упражнение для тех, кто хочет овладеть изысканными оборотами и научиться хорошо писать прозой. Однако французская поэзия никогда не казалась мне настолько привлекательной, чтобы я мог всецело посвятить себя ей.

Г-н де ла Мартиньер пожелал познакомиться с моим слогом и попросил меня изложить ему в письменной форме те подробности, которые я сообщил посланнику устно. Я написал ему длинное письмо, сохраненное, как я узнал, г-ном де Мариан, который давно находился на службе у маркиза де Бонак и впоследствии сменил де ла Мартиньера, когда посланником стал де Куртей. Я просил де Мальзерба, чтобы он постарался достать копию этого письма. Если мне удастся добыть письмо через него или кого-либо другого, оно будет включено в сборник, который будет приложен к моей «Исповеди».

Приобретаемый мною опыт постепенно умерял мои романтические замыслы, и, например, я не только не влюбился в г-жу де Бонак, но сразу понял, что в доме ее мужа далеко не пойдут. То, что г-н де ла Мартиньер занимал должность секретаря, а г-н де Мариан

был, так сказать, его законным преемником, позволяло мне рассчитывать самое большое на место помощника секретаря, а это меня вовсе не прельщало. Поэтому, когда меня спросили, каковы мои намерения, я выразил большое желание отправиться в Париж. Посланнику эта мысль пришла по вкусу, так как давала возможность избавиться от меня. Г-н де Мервейе, секретарь-драгоман<sup>{90}</sup> посольства, сообщил мне, что его хороший знакомый г-н Годар, полковник французской службы, ищет кого-нибудь, чтобы приставить дядькой к своему племяннику, который поступает очень молодым на службу, и я мог бы подойти. Это предложение, за которое все довольно легкомысленно ухватились, разрешило вопрос о моем отъезде; что касается меня самого, то я, предвкушая путешествие в Париж, радовался от всего сердца. Мне дали несколько писем, сто франков на дорогу и множество полезных наставлений, и я пустился в путь.

Я потратил на путешествие около двух недель, которые могу отнести к счастливейшим в моей жизни. Я был молод, здоров, полон больших надежд, у меня было достаточно денег, я путешествовал пешком, – при этом один. Могло бы показаться удивительным, что и последнее обстоятельство я отношу к приятным, если бы мой характер не был уже известен. Мои сладостные химеры заменяли мне общество, и никогда еще пыл моего воображения не порождал более прекрасных. Если мне предлагали свободное место в каком-нибудь экипаже или кто-нибудь подходил ко мне в пути, я хмурился, так как боялся разрушить здание блестящего будущего, которое воздвигал во время ходьбы. На этот раз мечты влекли меня к военной карьере. Я намеревался поступить под начало к какому-нибудь военному, потом сам стать военным, так как было решено, что сначала я буду кадетом. Я уже видел себя в офицерском мундире и с великолепным белым султаном на голове. В сердце моем росло чувство гордости при мысли о таком благородном поприще. Я обладал некоторыми познаниями в геометрии и фортификации; у меня был дядя инженер, таким образом я был до известной степени из военной семьи. Моя близорукость могла бы явиться некоторой помехой, но этот недостаток не смущал меня – я рассчитывал возместить его хладнокровием и отвагой. Я где-то читал, что маршал Шомбер<sup>{91}</sup> был очень близорук; почему бы не быть близоруким и маршалу Руссо? Эти безумные мечты так увлекли меня, что я видел только войска, укрепления, габионы<sup>{92}</sup>, батареи и себя самого, в огне и дыму спокойно отдающим приказания, с подозрительной трубой в руке. Однако, когда я проходил по живописной местности и глядел на рощи и ручьи, это трогательное зрелище заставляло меня вздыхать от сожаления; во всем блеске своей славы я чувствовал, что душа моя не создана для такой бурной жизни, готов был отказаться от служения Марсу и снова видел себя среди своих любимых овчарен.

Насколько первое впечатление от Парижа противоречило моему представлению о нем! Внешнее убранство зданий, виденное мною в Турине, красота улиц, симметрия и ровная линия домов заставляли меня искать в Париже чего-то еще лучшего. Я представлял себе город, столь же прекрасный, сколь обширный, самого внушительного вида, с великолепными улицами, мраморными и золотыми дворцами. Войдя в Париж через предместье Сен-Марсо, я увидел только узкие зловонные улицы, безобразные темные дома, картину грязи и бедности, нищих, ломовых извозчиков, штопальщиц, продавщиц настоек и старых шляп. Это сразу так поразило меня, что все подлинное великолепие, которое я впоследствии видел в Париже, не могло изгладить первого впечатления, и у меня навсегда сохранилось тайное отвращение к жизни в этой столице. Могу сказать, что все время, прожитое в ней, ушло у меня на поиски средств, которые дали бы мне возможность жить вдали от нее. Таковы плоды слишком пылкого воображения: оно преувеличивает еще больше, чем преувеличивают люди, и видит всегда больше того, что ему рассказывают. Мне так расхвалили Париж, что я представлял его себе подобием древнего Вавилона, который, возможно, столь же разочаровал бы меня, если б я увидел его в действительности. То же произошло со мной в Опере,

куда я отправился на следующий день по приезде; то же произошло со мной позднее в Версале, еще позже – при виде моря, и то же самое будет всегда происходить при виде всякого зрелища, которое мне слишком расхваливали, так как невозможно людям и трудно самой природе превзойти богатство моего воображения.

Судя по приему, оказанному мне всеми, к кому были у меня письма, я считал свою будущность обеспеченной. Однако тот, кому меня особенно горячо рекомендовали, встретил меня наименее любезно; это был некий де Сюрбек<sup>1931</sup>, находившийся в отставке и проживавший в философском уединении в Банье; я несколько раз посетил его, но он ни разу не предложил мне даже стакана воды. Любезней приняли меня г-жа де Мервейе, невестка драгомана, и его племянник, гвардейский офицер. Мать и сын не только оказали мне радушный прием, но пригласили меня приходить обедать. Этим приглашением я неоднократно пользовался во время своего пребывания в Париже. По-видимому, г-жа де Мервейе в молодости была красива; у нее были еще прекрасные черные волосы, которые она, по старинной моде, укладывала фестономы на висках. Она сохранила то, что не исчезает вместе с красотой, – обаятельный ум. Мне показалось, что она нашла меня неглупым, она сделала все, что могла, чтобы быть мне полезной; но никто не последовал ее примеру, и я скоро разочаровался в живом участии, которое как будто приняли во мне сначала. Нужно, однако, отдать справедливость французам: они не так рассыпаются в уверениях, как принято думать, и уверения их почти всегда искренни; но у них есть манера делать вид, будто они интересуются вами, и эта манера обманывает больше, чем слова. Грубые комплименты швейцарцев могут ввести в заблуждение только дураков. Обращение французов более обаятельно уже тем одним, что оно проще; и всегда кажется, что на словах они обещают меньше, чем намерены сделать для вас, желая впоследствии приятно вас удивить. Скажу больше: в своих излияниях они не лживы; по природе они услужливы, гуманны, доброжелательны и даже, что бы о них ни говорили, правдивее всякого другого народа, но легкомысленны и непостоянны. Они на самом деле питают к вам то чувство, которое выказывают, но чувство это исчезает так же внезапно, как возникло. Разговаривая с вами, они думают только о вас, но, как только перестали вас видеть, тотчас забывают о вашем существовании. Ничто не долговечно в их сердце, все у них мимолетно.

Мне говорили много приятного, но оказывали мало услуг. Полковник Годар, к племяннику которого меня пристроили, оказался отвратительным старым скрягой; утопая в золоте, он, однако, решил, при виде моего стесненного положения, даром воспользоваться моими трудами. Он хотел, чтобы я был для его племянника скорее чем-то вроде лакея без жалованья, нежели настоящим гувернером. Находясь постоянно при нем и будучи тем самым избавлен от обязанностей военной службы, я должен был бы жить на свою кадетскую стипендию, иными словами – на жалованье простого солдата; он едва-едва соглашался сшить мне мундир; ему хотелось бы, чтобы я удовольствовался казенным. Г-жа де Мервейе, возмущенная подобным предложением, сама отсоветовала мне принять его; ее сын был того же мнения. Стали искать какой-нибудь другой службы, но не находили. Между тем надо было спешить: ста франков, данных мне на дорогу, не могло хватить надолго. К счастью, я получил от посланника еще небольшую сумму, которая оказалась мне очень кстати, и я думаю, что он вообще не оставил бы меня, имей я побольше терпения; но томиться, ждать, просить – для меня вещь невозможная. Я впал в уныние, перестал появляться, и все было кончено. Я не забыл свою бедную маменьку, но как мне было найти ее? Где искать? Г-жа де Мервейе, знавшая мою историю, помогала мне в моих поисках, но долго – без всякого успеха. Наконец она сообщила мне, что г-жа де Варане месяца два тому назад опять уехала, но неизвестно, в Савойю или в Турин; некоторые говорили, что она вернулась в Швейцарию. Этого было достаточно, чтобы я отправился ей вслед, уверенный, что, где бы она ни была, я легче найду ее в провинции, чем мог это сделать в Париже.



Прежде чем пуститься в путь, я прибег к своему новому поэтическому таланту и в стихотворном послании к полковнику Годару осмеял его как сумел. Я показал это рифмоплетство г-же де Мервейе. Вместо того чтобы пожурить меня, как бы следовало, она посмеялась моим язвительным насмешкам, так же как и ее сын, по-видимому, не любивший Годара; надо признать, что тот был действительно очень противный старик. Мне хотелось послать ему свои стихи: мои друзья поддержали меня. Я вложил стихи в конверт и надписал его адрес. Так как в Париже тогда не было городской почты, я сунул пакет в карман и отправил его с дороги из Оссера<sup>{94}</sup>. До сих пор я иногда смеюсь, представляя себе его гримасы при чтении этого панегирика, в котором он был изображен как живой. Начиналось так:

Ты думал, старый хлыщ, мне блажь внушит желанье  
В твоём племяннике развить и ум и знанье...

Это небольшое стихотворение, говоря по правде, плохо написанное, но не лишенное остроумия и свидетельствовавшее о сатирическом таланте, – единственная сатира, вышедшая из-под моего пера. У меня слишком незлобивое сердце, для того чтоб пускать в ход подобный талант, но, мне думается, по некоторым моим полемическим сочинениям, написанным для самозащиты, можно судить, что, будь у меня воинственный характер, моим обидчикам было бы не до смеха.

При мысли о забытых подробностях моей жизни я больше всего жалею, что не писал путевых записок. Никогда я так много не думал, не жил так напряженно, столько не переживал, не был, если можно так выразиться, настолько самим собой, как во время путешествий, совершенных мной пешком и в одиночестве. Ходьба таит в себе нечто такое, что оживляет и заостряет мои мысли; я почти совсем не могу думать, сидя на месте; нужно, чтобы тело мое находилось в движении, для того чтобы пришел в движение и ум. Вид сельской местности, смена прелестных пейзажей, свежий воздух, здоровый аппетит и бодрость, появляющиеся у меня при ходьбе, чувство непринужденности в харчевнях, отдаленность от всего, что напоминает мне о моем зависимом положении, – все это освобождает мою душу, сообщает большую смелость мысли, как бы бросает меня в несметную массу живых существ, для того чтобы я мог их сопоставлять, выбирать, присваивать их себе без стеснения и без боязни. Я обращаюсь со всей природой, как властелин; моя душа, переходя от одного предмета к другому, соединяется, роднится с теми, которые ее привлекают, окружает себя пленительными образами, опьяняется восхитительными чувствами. Если, стремясь закрепить их, я забавляюсь мысленным их описанием, какую силу кисти, какую свежесть красок, какую выразительность речи вкладываю я в них! Говорят, что все это можно найти в моих произведениях, хотя и написанных на склоне лет. О, если б я мог показать произведения моей ранней молодости, созданные в дни скитаний, – произведения, которые я сочинял, но никогда не записывал! Почему же было не написать их? – спросите вы. Зачем писать? – отвечу я. – Зачем лишать себя подлинного наслаждения только ради того, чтобы рассказать другим, что я наслаждался? Какое мне было дело до читателей, до публики, до всего мира, когда я парил в небесах! Кроме того, разве я носил с собой бумагу, перья? Если б я стал думать о том, мне ничего не пришло бы в голову. Я не предвидел, что у меня будут возникать мысли: они приходили, когда им вздумается, а не когда хотел я. Они не являлись вовсе или же теснились толпой, одолевали меня своим множеством и своей силой. Десяти томов в день не хватило бы. Откуда взять время, чтобы записать их? Приходя куда-нибудь, я мечтал только о том, как бы хорошенько пообедать. Уходя, думал о том, чтобы хорошенько пройтись. Я чувствовал, что за порогом меня ожидает новый рай, и мечтал лишь о том, чтобы отыскать его.

Никогда еще я не чувствовал этого так ясно, как при том обратном путешествии, о котором говорю. Идя в Париж, я думал только о том, что буду там делать. Я устремился

мысленно на то поприще, которое мне предстояло, и прошел его не без славы; однако это была не та карьера, к которой влекло меня сердце, и живые существа становились поперек дороги существам воображаемым. Полковник Годар и его племянник представлялись жалкими по сравнению с таким героем, как я. Слава богу, теперь я был избавлен от помех и мог сколько душе угодно углубляться в страну своих химер, так как впереди у меня не было ничего, кроме нее. И я так блуждал в ней, что на самом деле несколько раз сбился с пути; но мне было бы очень досадно идти более прямым путем, так как я чувствовал, что в Лионе снова упаду с небес на землю, и мне хотелось бы вовсе туда не прийти.

Однажды, нарочно сойдя с прямой дороги, чтобы взглянуть поближе на какое-то место, показавшееся мне особенно живописным, я так им залюбовался, столько там бродил, что в конце концов по-настоящему заблудился. После нескольких часов ходьбы, усталый, умирая от голода и жажды, я зашел к какому-то крестьянину. Жилище его было довольно невзрачным, но другого поблизости не оказалось. Я думал, что и здесь дело обстоит так же, как в Женеве или вообще в Швейцарии, где каждый более или менее зажиточный крестьянин в состоянии оказать гостеприимство. Я попросил хозяина накормить меня обедом за плату. Он предложил мне снятого молока и грубого ячменного хлеба, говоря, что у него нет ничего другого. Я с наслаждением выпил молоко и съел хлеб с соломой и еще какой-то примесью, но это была не особенно подкрепляющая пища для человека, уставшего до полусмерти. Крестьянин, внимательно наблюдавший за мной, по моему аппетиту мог судить о правдивости моего рассказа. Сказав мне, что, как видно, я порядочный молодой человек<sup>12</sup> и не выдам его, он, опасливо озираясь, открыл небольшой люк около кухни, спустился в подвал и тотчас же вылез оттуда, достав каравай прекрасного хлеба из чистой пшеничной муки, окорок ветчины, очень аппетитный, хотя и початый, и бутылку вина, вид которой обрадовал меня больше, чем все остальное. К этому была добавлена довольно сытная яичница, и я пообедал так хорошо, как может пообедать только пешеход. Когда дело дошло до расплаты, его снова обуял страх и беспокойство: он не хотел брать с меня денег, отказывался от них с необычайным смущением. Забавней всего было то, что я никак не мог взять в толк, чего он боится. Наконец он с трепетом произнес страшные слова: «канцелярская крыса», «акцизный досмотрщик». Он дал мне понять, что прячет вино от досмотрщиков, а хлеб – из-за налогов и что его можно считать погибшим человеком, если кто-нибудь проведаст, что он не умирает с голоду. То, что он в связи с этим мне рассказал и о чем я понятия не имел, произвело на меня неизгладимое впечатление; он заронил в мою душу семя той непримиримой ненависти, которая впоследствии выросла в моем сердце против притеснений, испытываемых несчастным народом, и против его угнетателей. Этот крестьянин, хотя и зажиточный, не имел права есть хлеб, заработанный им в поте лица, и мог спастись от разорения, лишь прикидываясь таким же бедняком, как и его соседи. Я вышел из его дома столько же возмущенный, сколько растроганный, скорбя о судьбе этого плодородного края, который природа осыпала щедрыми дарами только для того, чтобы он стал жертвой бесчеловечных сборщиков податей. Вот единственное вполне отчетливое и ясное воспоминание, сохранившееся у меня об этом путешествии. Помню только, что, приближаясь к Лиону, я вдруг вздумал еще раз свернуть в сторону, чтобы взглянуть на берега Линьона, так как среди романов, прочитанных мною вместе с отцом, не была забыта «Астрея»<sup>1951</sup>, и она-то вспоминалась мне чаще всего. Я попросил указать мне дорогу в Форез. Из разговора с трактирщицей я узнал, что эта область – благодатный край для рабочих, где много железодельных заводов и что там прекрасно работают по железу. Эта похвала сразу охладила мое романтическое любо-

<sup>12</sup> По-видимому, у меня тогда еще не было той физиономии, которой меня впоследствии всегда награждали на портретах. (Прим. Руссо.)

пытство, и я не счел нужным идти на поиски Диан и Сильванов в толпе кузнецов. Добрая женщина, так горячо ободрявшая меня, наверно, приняла меня за слесаря-подмастерье.

Я направился в Лион не без цели. По прибытии туда я пошел в Шазотт, к дю Шатле, приятельнице г-жи де Варане, к которой она давала мне письмо, когда я шел провожать Леметра; таким образом, это было уже завязанное знакомство. М-ль дю Шатле сообщила мне, что ее подруга действительно была проездом в Лионе, но неизвестно, поехала ли она в Пьемонт, и что при отъезде г-жа де Варане сама не знала, останется ли она в Савойе; что, если я хочу, она напишет, чтобы получить известие об отсутствующей, а мне лучше всего дожидаться ответа в Лионе. Я согласился на это предложение, но не решился сказать м-ль дю Шатле, что мой тощий кошелек не позволяет мне долго ждать. Меня удержало от такого признания не то, что м-ль дю Шатле недостаточно радушно приняла меня; наоборот, она меня очень обласкала и отнеслась ко мне, как к равному, – но это-то как раз и лишило меня мужества обнаружить перед ней свое истинное положение и превратиться в ее глазах из человека хорошего общества в жалкого нищего.

Я как будто довольно ясно представляю себе последовательность того, что записал в этой книге. Однако мне помнится, что в тот же промежуток времени я совершил еще одно путешествие в Лион, хотя не могу точно сказать, когда это было и что уже в те дни я находился в очень стесненных обстоятельствах.

Память о крайней нужде, в которой я там оказался, не способствует приятным воспоминаниям об этом городе. Если б я был такой же, как другие, обладал бы талантом брать взаймы и должать в трактире, я легко выпутался бы из беды; но как раз в этом-то моя неспособность равнялась моему отвращению, и чтобы составить себе понятие о них, достаточно сказать, что, хотя я провел почти всю свою жизнь в бедности, иногда нуждаясь в куске хлеба, мне ни разу не случалось отпустить кредитора, просившего у меня денег, не уплатив их тотчас же. Я никогда не делал больших долгов и всегда предпочитал лучше терпеть лишения, чем должать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.